



СТ. ВОЛЬСКИЙ

Сен-Симон

Annotation

Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.

Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.

- [Станислав Вольский \(Соколов Андрей Владимирович\)](#)
 - [Детство](#)
 - [Замок и его обитатели](#)
 - [Что видно за стенами замка](#)
 - [Первая схватка](#)
 - [Новая Франция](#)
 - [Американская война](#)
 - [СенСимон санкюлот](#)
 - [Земельная спекуляция и тюрьма](#)
 - [СенСимон в эпоху директории](#)
 - [Нищета и творчество](#)
 - [Плоды осени](#)
 - [Последние годы жизни](#)
 - [Учение Сен-Симона](#)
 - [Сен-симонистская секта](#)
 - [СенСимон и марксизм](#)
 - [Сенсимонизм и русская общественная мысль](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)



**Станислав Вольский (Соколов Андрей
Владимирович)
СенСимон
Жизнь замечательных людей Выпуск 1–2
(49–50) 1935**

Детство



Henry Simon

Гравюра на дереве А. М. Критской



В величаво-унылых залах парижского «отеля»^[1], где проводят зиму графы СенСимон, и деревенского замка, куда они приезжают на лето, длинными рядами развешаны портреты предков. По ним можно проследить всю историю этого древнего рода, который согласно историческим летописям впервые выдвинулся в 1470 году, а согласно семейным преданиям, ничем не подтверждаемым, но ничем и не опровергаемым, получил свое начало от самого Карла Великого^[2], основателя Священной римской империи. С течением времени предания эти приобрели непреложность аксиомы, и потемневший от времени лик полулегендарного завоевателя возглавил фамильную галерею, дабы всегда напоминать потомкам об их правах на французский престол.

Права эти ныне мертвая буква. О них забыло и население, и владыки Франции — Бурбоны, железной рукой сломившие старую феодальную знать и лишившие ее всякого самостоятельного политического значения. Сен-Симоны смирились перед судьбой и пошли на службу к королю, милость которого значит теперь гораздо больше, чем наследственные замки и боевые заслуги. Путь к почестям и богатству лежит через королевскую резиденцию — Версаль, и никакой дворянин, желающий сделать себе карьеру, не может миновать этого пункта. Сен-Симоны тоже подвизаются там. Память о великом предке не мешает им успешно проходить курс придворной науки, низко склонять голову перед королевскими фаворитами и фаворитками и изысканной лестью, а иногда и ценными подарками завоевывать себе место на солнышке.

В конце XVII и начале XVIII века Сен-Симоны занимают видное положение среди придворной аристократии и блистают многообразием способностей, которое является их наследственной чертой.

Герцог СенСимон, один из представителей старшей линии, выдвинувшись на полях сражений, обращает на себя внимание Людовика XIV, получает важные посты, становится крупным дипломатом. Он — доверенное лицо регента и даже на закате дней, при Людовике XV, сохраняет репутацию выдающегося государственного деятеля. В довершение всего — он незаурядный и весьма плодовитый писатель, ярко отобразивший в своих мемуарах нравы и облик эпохи.

После герцога выдвигается представитель младшей линии, маркиз СенСимон. В нем повторяются все дарования герцога, но только в ослабленной степени. Он тоже и воин, и придворный, и дипломат, и писатель. Но успехи его на всех этих поприщах средние и лишь немного — на каких-нибудь полголовы — возносят его над современниками.

Другая младшая линия — линия графов де СенСимон — не успела стяжать даже этих скромных лавров. Глава ее — граф Бальтазар де СенСимон, кавалер да Рувруа, — изнывает в неизвестности и никак не может нащупать в версальском лабиринте надежную дорожку, сулящую богатство и славу. Родовые замки малоодоходны, кредиторы назойливы, и графу приходится поступить на службу к захудалому потентату — польскому королю — на пост начальника польской гвардейской бригады. Но служба эта — почетная фикция, такая же фикция, как и сама «польская» бригада, состоящая из французских солдат и никогда не покидающая пределов Франции. От его величества короля Станислава граф Бальтазар получает всего тысячу ливров^[3] в год. Во французских полках выдвинуться ему не удастся, и он выходит в отставку всего только в чине капитана. Тем

не менее версальские связи делают свое дело: министр д'Аржансон выхлопатывает ему пенсию в полторы тысячи ливров в год и должность губернатора Санлисского округа. Жалованье вместе с пенсией дает ему около 6 тысяч ливров в год — доход более чем скромный для потомка императора Карла.

Тридцати семи лет граф Бальтазар женится и, присовокупив к отцовским землям родовое имение жены, прочно оседает в своем замке Берни, около коммуны Фальви, в провинции Пикардии. Осень и зиму, по обычаю всех аристократов, он проводит в Париже. 17 октября 1760 года происходит радостное событие — у него родится сын, нареченный при крещении Клодом Анри. И на это существо с первого же дня рождения ложится задача — прославить младшую линию деяниями, достойными великого предка.

Если бы граф Бальтазар мог провидеть грядущее, он по всей вероятности собственными руками задушил бы этого выродка, который изменит, в будущем, своему классу и перейдет в лагерь социалистов-утопистов. К счастью, будущее от него скрыто.

Ребенок ничем не выдает своих преступных наклонностей, и на его розовеньком личике отец читает лишь то, что подсказывают его собственные мечты: его первенец будет замечательным воином, а может быть замечательным дипломатом, а может быть и тем, и другим. Кто знает, не затмит ли его звезда даже славу его двоюродного деда, герцога Сен-Симона?

Мальчика холят и нежат, потом муштруют, потом шпигуют науками. По воззрениям XVIII века образованный дворянин должен являть собою нечто вроде слоеного пирога с самой разнообразной начинкой, пригодной для любых вкусов и любых житейских положений. Верный этому принципу, отец, холодный и строгий, любящий не столько сына, сколько свои надежды неудачника, окружает его атмосферой хлопотливой и бестолковой заботливости. С утра до вечера вокруг маленького человечка кружится рой учителей, вбивающих в его голову всевозможные науки: арифметику, геометрию, латинский язык, геральдику, мифологию, географию и историю. Не забыты, конечно, ни танцы, ни фехтовальное искусство. Аббат преподает закон божий, а гувернер закаляет тело ранним вставанием и холодными душами.

Учителя быстро сменяют один другого, и с такой же быстротой следуют друг за другом полезные факты, отлагаясь в памяти бедного Клода Анри без всякого порядка и последовательности. Эта педагогическая карусель не пройдет даром для мальчика: когда он вырастет и станет

философом, гениальные идеи будут извергаться из его головы таким же беспорядочным и сумбурным фонтаном, каким некогда вливались в нее школьные истины. Но граф Бальтазар, плохо разбирающийся в педагогической механике, не смущается этим маленьким изъяном, уповая, что господь бог, создавший из хаоса гармоническую вселенную, сумеет привести когда-нибудь в должный вид и это наукообразное месиво. Граф Бальтазар лишь издали следит за воспитанием сына и держит Клода Анри в почтительном отдалении. Обязанность отца — блюсти за тем, чтобы машина вертелась и педагоги не били баклуши, — все остальное сделает случай и провидение.

Можно было бы подумать, что граф Бальтазар совсем равнодушен к своему первенцу, если бы не испытующие взгляды, которые он время от времени бросает на подрастающего мальчика. В них сквозит как будто гордость и как будто угроза. Сначала мальчик не понимает их смысла, но потом научается переводить их на общепонятный язык. Взгляды эти говорят: «Ты должен прославить наш род. А если не прославишь, — смотри у меня!» И у мальчика рождается смутное чувство не то страха, не то ожидания, — чувство, которое с каждым годом все более и более превращается в горделивую уверенность. Отец прав, — графу Клоду Анри суждена дорога славы, ему предстоит осуществить великую цель. Какую же именно?

Граф Бальтазар слишком занят делами, охотой и гостями, чтобы подробно распространяться на эту тему, но его застольные беседы и рассказы о придворной жизни ясно дают понять, каковы его чаяния. Госпожа графиня тоже слишком занята: она вся ушла в предродовые и послеродовые хлопоты (каждые полтора года она приносит мужу по ребенку) и свободные минуты предпочитает уделять не гаданиям о будущем сына, а легкой великосветской болтовне. От нее Клод Анри ничего не узнает о своем предназначении. Некоторые намеки на этот счет дают портреты предков: их важные лица, их стальные латы и богато расшитые камзолы рассказывают одну и ту же повесть, — повесть о ратных подвигах, охотах, любовных историях и придворных интригах. Если ничего особенного не случится, Клоду Анри придется пройти такой же точно предначертанный от века дворянский путь. Но мальчику этого не хочется, — он жаждет чего-то другого, необычного и странного, чего-то такого, о чем не знают ни папа, ни мама.

Да и сам он странный, непохожий на всех. Он упрям, порывист, смел и завладевшую им мысль не боится доводить до ее крайних выводов. Как-то раз его укусила бешеная собака. Клод Анри сейчас же прижег укушенное

место горящим углем и днем и ночью стал носить при себе пистолет, дабы покончить с собой при первых же признаках бешенства. С такой же смелостью будет он подходить и к вопросам, которые поставит перед ним жизнь.

А жизнь эта своевольна и мучительно сложна. Она очертила вокруг молодого отпрыска сен-симоновского дома свой собственный круг, гораздо более широкий, чем фамильные традиции и школьная премудрость. В том огромном и многозвучном мире, который расстилается за стенами отцовских особняков, все обстоит совсем иначе, чем во дворцах графа Бальтазара и его друзей. Там нет фарфоровых пастушков и пастушек, нет сентиментальных идиллий, вызывающих слезы у чувствительных маркиз и графинь, нет изящных остроумцев, играющих словами, как фокусник шарами, — там нет ничего, кроме потных мужиков, мучительного труда, напряженной борьбы за каждый кусок хлеба и за каждый вершок земли. У мира есть какая-то своя истина, которую он изо дня в день нашептывает маленькому Анри. И маленький Анри слушает, думает и постепенно отдает всю свою душу демону сомнений.

Посмотрим сначала, что видит он в своей собственной среде.

Замок и его обитатели

С высокого холма, на котором расположен большой и пышный с виду замок Берни, открывается широкий вид. Внизу узкой лентой река, а дальше, на необозримой равнине, разбросаны замки, фермы, деревни. Вот тут, совсем близко, деревушка в восемьдесят жалких хибарок, населенных «вассалами»^[4] графа Сен-Симона. Рядом с ней — старинная, в готическом стиле, церковь. Дальше — три дворянских замка, купленных разбогатевшими мещанами: нотариусом, председателем суда и каким-то купцом. Дальше — замок графов Вермандуа, дальних родственников сенсимоновской семьи. Потом опять деревни, опять замки, среди которых чуть заметным пятнышком маячит резиденция Нуайонского епископа, дяди графа Бальтазара, и опять церкви. Весь горизонт исчерчен островерхими башенками «шато» (замков) и шпилями церковных колоколен, и с первого взгляда кажется, что феодальный порядок, оставивший на всем окружающем столь прочные следы, живет полной жизнью и будет жить еще долго.

По залам отцовского «отеля» и замка расхаживают изящные кавалеры и дамы и не менее изящные архиепископы, епископы, настоятели монастырей аббаты. Первые служат Франции шпагой, вторые — молитвами. От народной массы, которая служит Франции только трудом, они отделены целой пропастью. Они — «привилегированные», они — сердце нации, мозг нации и в то же время, по словам людей «неблагоданмеренных», иго нации.

Во второй половине XVIII века дворян числится 140 тысяч, духовенства всевозможных рангов и наименований — 130 тысяч человек. А так как население Франции перед революцией составляет около 26 миллионов человек, то это значит, что на каждую квадратную милю территории (миля того времени равняется почти семи километрам) и на каждую тысячу населения приходится по одной дворянской семье. Разумеется, эта средняя цифра не точно отражает действительность: распределение земельной собственности крайне неравномерно, имеется немало округов, целиком принадлежащих короне и принцам крови (королевский дом владеет приблизительно одной пятой французской территории) или отдельным знатным магнатам, и потому в округах среднего и мелкого землевладения дворянские поместья разбросаны гораздо чаще.

Дворянство как будто сильно и могуче, но сила эта — призрачная. Беспощадная рука времени подточила фундамент многовекового феодального здания, и при первом же колебании почвы все его твердыни полетят, как карточные домики. Они уже ни на чем не покоятся, ибо социальная связь сеньора с его «подданными» давно исчезла, а вместе с нею исчезла и та основа, на которой зиждились власть и влияние знати.

Некогда «сеньор», безвыездно живший в своем имении, выполнял множество сложных и ответственных обязанностей. В случае войны он набирал ополчение и во главе местного полка шел на защиту своей провинции или всей Франции. Он был судьей и главным администратором всего округа. Во время голода или других стихийных бедствий он из собственных запасов раздавал хлеб нуждающемуся населению. Если королевские сборщики податей слишком обдирали его крепостных и арендаторов, он силой изгонял их со своих территорий. Иногда он вмешивался даже во взаимоотношения церковных властей и прихожан и обуздывал неумеренные аппетиты аббатов и настоятелей. Словом, за взимаемые им феодальные повинности он оказывал населению известные услуги и в громоздкой машине средневекового государства был не очень, правда, приятным, но все же необходимым винтиком.

Королевская власть, опираясь на крестьянство и городскую буржуазию, связала сеньора по рукам и ногам и отобрала у него все те функции, которыми некогда исторически обуславливалось его существование. Сеньор стал пятой спицей в колеснице. В местной администрации его место занял «интендант», — начальник провинции, назначаемый королем и держащий все нити провинциального управления. Набор ополчения, взимание и разверстка налогов, прокладка и ремонт дорог, забота о местных нуждах, — все это лежит на королевских чиновниках и выполняется помимо поместного дворянства. Борьба со сборщиками податей и защита прав населения отошли в область преданий. Дворянин сохранил свои феодальные привилегии, но он освобожден от своих феодальных обязанностей. Никому не нужный, он порхает по стране легкокрылой бабочкой, обреченной на гибель при первой же буре.

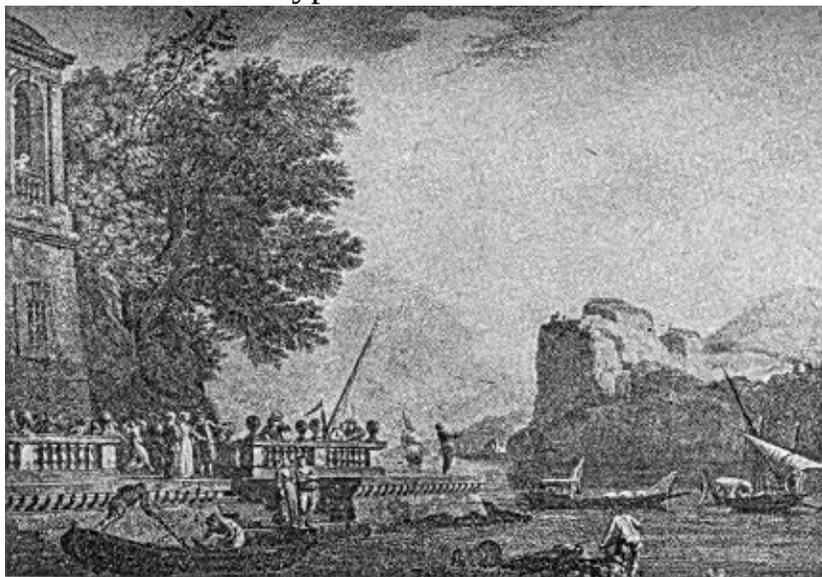
О его будущем ясно говорит его настоящее. Его обителища, — эти гордые и величественные замки, державшие некогда в страхе и послушании и сельскую, и городскую Францию, похожи на склепы, а их жители — на выходцев с того света, случайно попавших в общество живых. Вот, например, как описывает Шатобриан^[5] в своих «Замогильных записках» отцовскую резиденцию, типичную для дворянина средней руки.

«На голых стенах замка там и сям виднелись окна с решетками.

Широкая лестница, строгая и прямая, в двадцать две ступеньки, заменяла собою древний подъемный мост, ныне засыпанный. Лестница вела к воротам замка, сделанным в самой середине фасада. Над воротами был выставлен герб владельца Комбурга, а по бокам зияли бреши, через которые проходили некогда цепи подъемного моста... Мы поднялись по лестнице, вошли в гулкую переднюю со стрельчатыми сводами, а оттуда — в маленький внутренний двор.

Из двора мы вошли в здание с двумя небольшими башенками по углам. Замок походил на четырехколесную тележку. Мы очутились в зале, именовавшемся некогда «залом стражей». На концах его было по одному окну, между которыми находилось еще два окна. Чтобы расширить их, пришлось пробивать стены толщиной в 8—10 футов. С обоих концов зала шли коридоры, ведущие в маленькие башни. Лестница, устроенная в одной из башен, соединяла «зал стражей» с верхним этажом.

В большой башне, выходящей на север, находилось помещение, напоминавшее по своему виду мрачный дортуар и служившее кухней. К ней прилегали прихожая, лестница и часовня. Над этой комнатой находилась «архивная» или «оружейная» зала, называвшаяся еще «птичьей» или «кавалерской» залой, так как потолок ее был расписан цветными гербами и птицами. Амбразуры окон были так глубоки, что они образовывали своего рода комнаты. Прибавьте к этому устроенные в разных частях здания секретные ходы и лестницы, тайники и погреба, лабиринт крытых и открытых галерей, подземные, выложенные камнем, переходы, разветвлений которых никто не знал. Всюду молчание, темнота и камень. Таков был замок Комбург».



Замок XVIII века. Гравюра Куле с картины Верне (Музей изящных

искусств)

Таково было большинство замков, разнившихся от Комбурга только своим размерами и степенью разрушения. Вероятно близко подходила к этому описанию и родовая резиденция графов СенСимон. Здесь все ненужно, все принадлежит прошлому, и каменные громады былых веков кажутся жалкой карикатурой. В «оружейных» залах нет ничего, кроме нескольких заржавленных панцирей и покрытых паутиной мечей. Грозная башня, наводившая некогда ужас на врагов, ныне дает приют одной единственной кухарке, которой, — как признается между строк Шатобриан, — частенько нечего бывает готовить. Огромный камин, в котором во дни оны зажаривались целые быки, уж полстолетия как не топится, ибо у владельца нет дров. В «зале стражей», где когда-то толпой сновали вооруженные воины, редко-редко прошмыгнет единственный заморенный лакей. Память о пышных охотах сохранилась в образе единственной лягавой собаки. Но зато владелец этой резиденции во всех официальных документах именуется, как и полтора столетия назад, «высокородным и могущественным мессиром».

Его фермеры и арендаторы ничем не связаны с ним кроме арендной платы и неизвестно за что уплачиваемых повинностей. Никакой близости к его роду они не чувствуют, никакой клятвы на верность не приносят, никакой помощи от него не ожидают. Но тем не менее официальные документы с такой же серьезностью именуют их «вассалами», с какой полунищий сеньор титулуется «высокородным и могущественным мессиром».

Высокородному и могущественному мессиру смертельно скучно. Когда тоска окончательно одолевает его, он вспоминает о своих феодальных правах и воскрешает, забавы ради, доброе старое время. Сделать это не так трудно. В пятнадцатом и шестнадцатом столетиях предки Шатобриана, водившие в битвы полки, должны были проверять боеспособность своих подданных и устраивали для этого воинские состязания. В восемнадцатом столетии состязания эти забыты, но из списка повинностей не исключены. И вот старый граф Шатобриан издает приказ: древние игрища, известные под именем «Квинтаны», возобновляются, и все молодожены, женившиеся в течение последнего года, обязаны в мае месяце такого-то числа явиться на указанное место и «переломить копьё о столб».

Шатобриановские вассалы еще хранят на сеновалах прадедовские копья, которые ныне употребляются на то, чтобы колоть заупрямившихся лошадей и ослов в деликатные части тела и этим понуждать животных к

повиновению. Покорные зову сеньора, вассалы выезжают в назначенный день на ратное поле, столь же мало похожие на воинов, как их отощавшие от работы и бескормицы клячи — на боевых коней. Бальиф — иначе говоря, приказчик, — являющийся верховным арбитром, осматривает каждую пику и во всеуслышание объявляет, что в предъявленном ему оружии нет ни трещин, ни изъянов. После этого начинаются игрища. Поджарые кобылки и губошлепые мерины делают вид, что скачут, их наездники изображают на лице воинственный пыл, тычут в столб прадедовским копьем и проносятся мимо, толпа хохочет, бальиф собирает с неудачников денежные штрафы, а сеньор, надевший по этому случаю свой единственный выходной костюм, важно созерцает ратную потеху.

Другое развлечение — так называемая «Анжуйская ярмарка», древние обряды которой возобновляются по приказанию графа Шатобриана. «Вассалы, — пишет в своих записках его сын, — были обязаны с оружием в руках приезжать в замок и поднимать там знамя своего сеньора; оттуда они отправлялись на ярмарку для установления порядка и взимания сборов, уплачивавшихся сеньору с каждой головы продаваемого скота. В эти дни мой отец жил широко. В течение трех дней все обжирались: господа — в большой зале, под пиликанье скрипки, вассалы — на зеленой лужайке под аккомпанимент гнусавой волынки. Пели, кричали «ура», стреляли из аркебузов. Эти звуки смешивались с мычаньем скота на ярмарке. Толпа бродила по парку и саду, и таким образом хоть один раз в год в Комбурге было что-то, похожее на веселье».

Таков был стиль дворянской жизни в Бретани, самой отсталой из всех французских провинций. В округе графа Сен-Симона, расположенном неподалеку от столицы, среднее и мелкопоместное дворянство жило несколько иначе. Оно не особенно увлекалось стариной, предпочитало модные танцы древним военным забавам, но претензии его были столь же велики, денежные средства столь же ограничены, жизнь — столь же эфемерна и призрачна.

В районах, более близких к столице, времяпрепровождение среднего дворянства все же мало отличается от быта Шатобриановского замка, но зато родовитая знать, — по крайней мере та, которая еще не успела разориться, — поражает обилием пиршеств и великолепием празднеств. Хмурые феодальные замки по большей части снесены, и на их месте воздвигнуты пышные дворцы с длинными анфиладами парадных зал и множеством комнат для гостей и прислуги. Гости приезжает столько, что хозяин не всех их знает в лицо; во избежание ошибок на дверях каждой комнаты вывешивается карточка с именем приезжего, «дабы хозяин мог

нанести гостю утренний визит». Если приезжий — человек необщительного нрава, он может даже совсем не являться к общему столу: завтрак, обед и ужин приносятся в его собственные апартаменты, и иногда хозяин лишь спустя долгое время узнает, что у него гостил граф такой-то или виконт такой-то. Сколько поедает это веселое общество, видно из уцелевших записей управляющих; в одной из них значится, например, что в течение лета в замке съедено 4 тысячи кур.

В замке не только едят, — там разнообразно и утонченно развлекаются. После обеда общество разбивается на отдельные компании: одни читают вслух в библиотеке, другие отправляются на охоту, третьи удят рыбу, четвертые в укромных уголках парка заканчивают начатую накануне любовную интригу, пятые репетируют пьесу, которой они будут вечером услаждать собравшихся. А вечером парк иллюминруется и на открытом воздухе разыгрывается веселая комедия или ставится в назидание вассалам нравоучительная пастораль^[6], герои которой поражают зрителей как добродетелью своих сентенций, так и откровенностью своих поз. Когда устраиваются балы, по втором этаже веселятся господа, а внизу, в полуподвальном помещении танцуют лакеи и горничные, приглашающие на пир своих родственников и знакомых и угощающие их на счет тароватого хозяина, — вернее на счет его арендаторов, клиентов и обворовываемой им казны. Убранство замков и разбивка парков поглощают огромные суммы: так, например, Пари де Монмартель, — финансист, получивший дворянский титул, — тратит на устройство замка 10 млн. ливров (т. е. в переводе на современную валюту около 30 млн. довоенных франков), а де ла Бард, — тоже бывший финансист, — на одни парки тратит 14 млн. ливров.



Отдых на охоте. Гравюра Демониши по рисунку Белутербурга (Музей изящных искусств)

Упустив из рук реальную власть, дворяне-землевладельцы тем упорнее держатся за ее фикцию. У важных магнатов в приемной зале все еще стоит кресло под балдахинном, — подобие трона, — на котором предки их восседали в особо торжественных случаях. В те редкие дни, когда сеньор наезжает из столицы в свою вотчину, около этого кресла увивается его «двор», — мелкопоместные дворяне его округа. Если родовое имение переходит в руки нового сеньора, устраивается пышная встреча. Вот как, например, встречало население Вольтера, когда он в 1759 году купил в Турнэ замок у некоего Брассе: «Ему оказали всевозможные почести, — пишет очевидец. — Стреляли из пушек, бросали гранаты, били в барабан, играли на флейте. Все крестьяне явились в полном вооружении. Священник сказал приветственную речь. Г-н Вольтер ему ответил: «попросите у меня все, что нужно для ремонта вашей приходской церкви, и я это сделаю». Приходские девушки поднесли цветы двум приехавшим дамам. Пили вино за здоровье нового сеньора под пушечные залпы. Мне кажется, что он никогда не чувствовал себя так хорошо».

Если почести вассалов настолько кружили голову даже философу-

вольнодумцу Вольтеру, что он забыл свой лозунг «давите гнусного» (т. е. католическую церковь) и обещал священнику всяческую помощь и содействие, легко себе представить, как цеплялись за них мелкие полуграмотные помещики, получившие от народа презрительную кличку «кобчики» (hoberau — небольшая хищная птица). Чтобы поддержать свой престиж, на «дерзкие» выходки крестьянина, слишком настойчиво требующего невыданную заработную плату, они отвечают кулачной расправой. При встрече с дворянской каретой крестьянин, хотя бы он ехал с возом, должен сворачивать с дороги, иначе ему грозят весьма неприятные последствия: еще в 1789 году, перед самой революцией, в окрестностях Парижа, крестьянина, не выполнившего этого «долга вежливости», сволакивали с козел и бросали на шоссе (сооруженное и содержащееся исключительно на его счет).

Но всего настойчивее престиж охраняется в церкви, как это видно из многочисленных судебных процессов предреволюционной эпохи. Так, например, один сеньор требует, чтобы священник подавал ему святую воду вместе с кропильницей, которой сеньор сам должен кропить себя и свою семью. Священник видит в этом потрясение основ установленного богослужения, и в конце концов дело разбирается в высшем суде. Другой сеньор требует, чтобы его кропили особенно обильно; священник выполняет его требование с такой точностью, что заливает водой его новенький парик и заставляет его дам, вымоченных с ног до головы, удаляться из церкви, дабы переменить костюм. Опять возникает судебное дело, тянувшееся несколько лет. Третий настаивает на том, чтобы ему уделяли наибольшую порцию освященного хлеба, — и этот сложный вопрос тоже решается судом. А если сеньориальное поместье достается нескольким наследникам, то возникает самый ожесточенный и самый длительный из всех подобных споров, — спор о том, кому занимать почетную скамью в церкви, кому первому подходить к причастию и т. д.

Неудивительно, что сколько-нибудь вдумчивых современников эта погоня за внешним престижем, ни в малейшей мере не соответствующим материальному положению, наводит на грустные мысли. «Какой толк, — пишет один писатель середины XVIII века, — в этих внешних знаках почета, лишенных всякого значения благодаря нищете, эта скамья в приходской церкви, рядом с которой следовало бы поставить чурбан для сбора пожертвований в пользу сеньора, эти заздравные молитвы, которые священник, если бы он смел, заменил просьбой к прихожанам о поддержке сеньора за счет благотворительности?»

Чем беднее дворянин, тем тщательнее оберегает он себя от

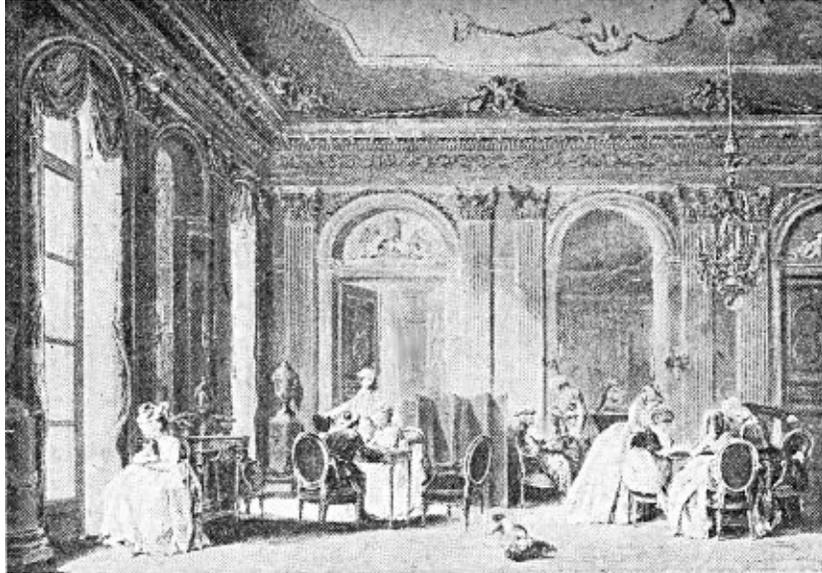
соприкосновения с «низшими классами». Если его предки, — состоятельные, уверенные в своей силе и материально связанные со своими «вассалами», — старались закрепить эту связь, то он, наоборот, стремится окончательно разорвать ее и поддержать свое достоинство хотя бы «блестящей изолированностью». Его дети уже не избирают в товарищи своих детских игр деревенских мальчишек, не учатся вместе с ними в одной школе, как это бывало когда-то. Миновали те времена, когда отец философа Монтэня «приказал держать сына над купелью людям самого бедного состояния, чтобы привязать его к ним» и с той же целью отдал его кормить крестьянке, в деревню, «где ему приходилось жить самым простым и низменным образом». Никто не последует теперь и примеру матери философа Монтестье, которая избрала в крёстные отцы для своего сына простого крестьянина, «чтобы сын ее помнил, что все люди равны перед богом». Дворянин конца XVIII века — существо, отделенное от прочих смертных стеклянной стеной: если он не имеет возможности совсем бросить деревню и переехать к королевскому двору (что делают почти все более или менее богатые дворяне), то он старается по крайней мере отрезать себя от жизни «простолудинов» и уйти в свой собственный мир, куда не имеют доступа люди «третьего сословия». Можно было бы даже усомниться в его ни для кого не нужном существовании, если бы оно не напоминало о себе теми неприятностями, которые причиняют окружающим его управляющие, приказчики и мелкие агенты.

На какой же материальной базе зиждилось бытие этого призрачного существа? Другими словами, — откуда получал дворянин свои доходы?

На первом месте стоят доходные должности. Как общее правило, все должности продаются: пост губернатора, командира полка, генерала, председателя высшего суда, даже министра так же легко купить, как пару перчаток. Наиболее выгодными считаются высшие военные и административные посты, покупаемые или непосредственно у тех, кто их занимает, или у их начальства. Цена их колеблется от 250 до 500–600 тысяч ливров, а доходы — от 12–18 тысяч ливров в год (пехотные полки) до 30–60 тысяч ливров (губернаторы провинций) и даже до 120 тысяч ливров (гвардейские полки). Цена и доходы министерских и интендантских постов меняются от случая к случаю. Покупка должности считается выгодным вложением капитала и обычно следует за женитьбой на богатой наследнице.

Выгодные браки на богатых буржуазках являются своего рода «сторонними заработками» и для родовой придворной знати имеют немалое значение. Богатство невесты заставляет забывать о ее низком

происхождении: с нее не спрашивают не только «четыре благородных предков по отцовской и материнской линии», дающих право являться ко двору, но и одного благородного предка. Дочь финансиста, дочь купца, дочь председателя высшего суда, дочь разжившегося трактирщика могут в любую минуту стать герцогинями и графинями, если у них хорошее приданое. «Почти все женщины Парижа и Версаля, занимающие значительное положение, — пишет в своих записках Шамфор^[7], — не что иное, как богатые буржуазки».



Прием гостей в замке. Гравюра Декевовилле с рисунка Лауренса 1783 года (Музей изящных искусств)

Для покупки выгодных должностей необходимы большие средства и хорошие связи с правящими кругами, для женитьбы на богатой наследнице — громкое имя. У дворянина средней руки обычно ни того, ни другого не имеется, поэтому арендная плата и повинности, играющие в бюджете магната сравнительно второстепенную роль, для среднего дворянина являются единственным источником существования. Но в большинстве случаев имения его заложены или фактически перешли в руки кредиторов — богатых горожан или откупщиков. «Все французские дворянские семьи разорены, за исключением каких-нибудь 200–300 семей», — жалуется в своих мемуарах Булье. Почти вся рента шла поэтому на уплату процентов и так как собственное хозяйство в дворянских поместьях почти ничего не давало (хозяйство — дело не дворянское), то единственным доходом оказывались феодальные повинности.

Повинностей этих так много, и в каждой провинции они столь разнообразны, что одно перечисление их заняло бы целые страницы.

Остановимся лишь на самых главных. «Вассалы» платят сеньору от одной четверти до одной шестой цены всякого имущества, проданного в данном округе; в его пользу взимается налог с поступающего в продажу пива, вина и прочих напитков; каждый «очаг» (т. е. каждый дом) обязан платить так называемый подъемный сбор; особый сбор платится за проезд по мостам, которые сеньор давно перестал строить, и по дорогам, которые он давно перестал чинить; сборы платятся за все товары, выносимые на рынок. Хлеб свой крестьяне и фермеры обязаны молотить на господской мельнице, уплачивая за помол до одной шестой привозимого зерна; виноград они должны выжимать на господских прессах, колоть скот на господских бойнях, подковывать лошадей в господских кузницах, — все это, разумеется, за соответствующую плату. Наконец, они должны бесплатно обрабатывать господские поля, — по большей части на собственных лошадях и собственными орудиями. Имущество, оставшееся после преступника, присужденного к смертной казни, конфискуется и идет в пользу сеньора; ему же передаются вещи, выброшенные на берег после кораблекрушения; наконец, ему же переходит имущество всякого лица, не оставившего после себя наследников.

Если бы эти повинности сообразовались с реальной стоимостью денег, то они выкачали бы все достояние «вассалов» до последнего гроша. К счастью для населения, ставки сборов застыли на той же точке, на которой застыли сеньориальный замок и его обитатели, и хотя покупательная стоимость ливра понизилась в несколько раз по сравнению с XVI и XVII столетиями, с «вассала» в большинстве случаев берут почти столько, сколько брали с него сто или двести лет назад. Этим и объясняется то, что феодальные повинности, — как мы увидим ниже, — составляли сравнительно скромную сумму.

Кроме денежных сборов немалое значение имеют и сеньориальные монополии, главной из которых является полуторамесячная монополия на продажу вина: после выжимки винограда никто, кроме сеньора, не имеет права в течение полутора месяцев продавать вино ни на рынке, ни на дому. Так как запасы вина в стране были невелики и обычно исчерпывались к концу года, то эта монополия была чрезвычайно важна для сеньоров и приносила им значительные барыши.

Помимо повинностей, дающих денежные доходы, существуют еще так называемые привилегии. Дворянин, отстранившийся или вернее отстраненный от судебных и административных функций, тем не менее назначает в своем округе судей, судебных приставов и некоторых других чиновников. Иногда он же назначает и служащих местных

муниципалитетов. Эта привилегия не только почетна, но и довольно выгодна. Судебные посты сеньор продает соискателям, не считаясь ни с их подготовкой, ни с их пригодностью, и выручает от этого довольно крупные суммы. Назначенные им лица в свою очередь обдирают истцов и ответчиков, виновных и невиновных и вообще всех, кого судьба приведет с ними в соприкосновение. Как это отзывалось на населении, — ясно само собою.

Наконец, дворянину принадлежит исключительное право охоты во всех лесах и парках его околотка, — даже в тех, какие находятся во владении богатых городских буржуа. Это право, весьма ревниво оберегаемое, является настоящим бичом для окрестных фермеров и крестьян, не смеющих тронуть пальцем ни зайцев, портящих их сады и огороды, ни фазанов, опустошающих их хлебные поля.

Дворянин освобожден от всех податей, лежащих таким тяжким гнетом на крестьянское население. Он платит только подоходный налог, взимаемый со всех без исключения подданных французского короля. Но этот налог, с одной стороны, составляет только одну двадцатую его дохода, а с другой — величина его определяется на основании показаний самого же сеньора, никем не учитываемых и не проверяемых. Естественно, что реальные поступления из этого источника дают лишь ничтожную часть тех и без того скромных сумм, которые должны были бы вноситься. Этим узаконенным казнокрадством, происходящим у всех на глазах, дворяне хвастаются, как одной из почетных привилегий своего звания. «Я плачу казне столько, сколько мне вздумается», — публично заявляет герцог Орлеанский.

Чтобы сохранить дворянское землевладение, принят ряд законодательных мер. Во-первых, проводится так называемое право первородства: после смерти отца две трети семейного имущества передается старшему сыну, остальные же дети должны довольствоваться одной третью, соблюдая при этом в отношении своих наследников то же самое правило. Во-вторых, дворянин не имеет права отчуждать родовое имение, хотя может закладывать его и сдавать в аренду. На практике этот закон, разумеется, не приводит ни к чему: весьма большая часть дворянских земель фактически перешла во владение кредиторов, которые, однако, юридически считаются долгосрочными арендаторами и выплачивают сеньору ничтожную арендную плату. Эта фиктивная аренда — флаг затонувшего корабля: корабль давно засосан илом и оброс морскими ракушками, но на кончике его мачты, торчащем над водной поверхностью, все еще развевается истлевшая тряпка с фамильным гербом

и надписью: «высокородный и могущественный мессир, повелитель такой-то части Франции».

Чем проявляют себя повелители Франции в экономической жизни своей страны? Только тем, что каждый из них сбрасывает хозяйственные заботы на плечи людей, ниже его стоящих: мелкопоместный дворянин — на плечи баллифа и крестьян, даром обрабатывающих его поля, средний дворянин — на плечи управляющего, знатный магнат — на плечи своих многочисленных приказчиков и господ бога. Чем знатнее дворянин, тем запущеннее его нивы, у наиболее же знатных нив почти не имеется.

«Если даже крупный сеньор обладает миллионными доходами, — пишет Артур Юнг^[8], посетивший Францию накануне революции, — вы можете быть уверены, что его собственные земли пустуют. Самыми большими земельными владениями во Франции являются ныне владения принца Субиза и герцога Бульона, а между тем единственные признаки их величия, которые я заметил, — это кусты, заросли, пески, пустоши и заросшие папоротником дебри. Если вы посетите их в их резиденции, вы увидите их среди лесов, изобилующих оленями, ланями и волками».

«Французская знать, — пишет он в другом месте, — не хочет и думать о том, чтобы заниматься сельским хозяйством или даже говорить о нем, и рассуждает о нем разве только в теории; если о нем и упоминают, то так, как упоминали бы о каком-нибудь ремесле или машине, совершенно чуждым их повседневным занятиям».

Неудивительно, что это первенствующее сословие, которому, — по крайней мере на бумаге, — принадлежит от одной пятой до одной трети французской территории, в огромном большинстве случаев живет, сравнительно со своими претензиями, чрезвычайно плохо. Общий доход принцев крови, правда, составляет от 24 до 25 млн. ливров, и один герцог Орлеанский получает, например, 11 500 000 ливров в год (что не мешает ему оставить своим наследникам 74 млн. ливров долга). Но это — редчайшие исключения. Среднее дворянство, имеющее доступ к теплым местечкам, еще кое-как подкармливается около казенного пирога, но мелкие дворянчики, не имеющие связей, лишены и этих ресурсов и вынуждены довольствоваться теми скромными суммами, которые приносят им аренды и феодальные повинности. Доходы в 2–3 тысячи франков в год считаются еще приличными, большинство же вынуждено жить на гораздо меньшие средства. А так как на эту сумму приходится содержать семью в пять-шесть человек детей (дворяне этой эпохи очень плодовиты), то вполне понятно, что поддержание дворянского достоинства становится задачей, совершенно неосуществимой.

И все-таки повелители Франции упорно отказываются от всякого труда. Труд — это позорное клеймо, отличительный признак низших сословий. Пусть мужик, ходящий за сохой, откладывает в чулок потом и кровью заработанные су, пусть купец наживает капиталы за прилавком, а ремесленник — в своей мастерской, — дворянин никогда ни снизойдет до этих унижительных занятий. Гордо завернувшись в заплатанный плащ и бережно неся подмышками дедовскую шпагу, он будет стучаться в двери важных бар и просить место управляющего или объездчика, или даже егеря, но никогда, никогда не запяtnает он себя торгашеством или физической работой! Он никогда не забудет, что где-то в медвежьем углу стоит его фамильный замок, хотя бы ему, как младшему сыну, досталось из этого родового имущества всего навсего «одна треть голубятни и одна треть лягавой собаки» (Шатобриан).

Париж и замки придворной знати кишат этими благородными пауперами. Стране они обходятся достаточно дорого: общая сумма феодальных повинностей, выплачиваемых им, равняется в последние годы перед революцией 123 млн. франков, что составляет около пяти процентов чистого земледельческого дохода нации.

Но хуже всего то, что эти суммы пропадают зря. Вся эта армия отъявленных бездельников никому больше не нужна. Заржавленные шпаги «мессиров» никого уже не защищают, их тонкие аристократические руки давно выпустили бразды правления, их гордо закинутые головы не думают ни о своих вассалах, ни о своей провинции. Это понимают и крестьяне, и городские буржуа, и даже наиболее умные из дворян. В 80-х годах XVIII столетия маркиз Мирабо пишет: «Известно, какой степени достигал обычай или вернее мания делать подарки, которые местные жители подносили своим сеньорам. У меня на глазах этот обычай исчез повсюду — и с полным основанием. Сеньоры больше ни на что не нужны крестьянам: их просто-напросто забыли, как они забыли крестьян». Их скоро вспомнят, маркиз, — но только для того, чтобы справить им похороны!

Особое положение занимает дворянство, сросшееся с буржуазией. Иногда это — младшие сыновья, которым надоело быть титулованными нищими и которые пошли приказчиками в лавку или банкирскую контору, стали писцами у нотариусов или адвокатов и благодаря связям, личным способностям или просто случаю сделали успешную буржуазную карьеру. Иногда это — предприимчивые дельцы, вложившие свои средства в коммерческие аферы. Иногда это рантье, ликвидировавшие родовые земли и ставшие вкладчиками «учетной кассы» или какого-либо другого банка. Таких «блудных сынов» было довольно много в эпоху революции. Но к

дворянскому сословию, с которым у них не было почти ничего общего кроме происхождения, они в сущности не принадлежали. Экономические интересы, образ жизни, политические взгляды, — все это откосило их к другому берегу, в лагерь «третьего сословия».

Теснейшим образом связано с дворянством высшее духовенство — эта вторая категория «привилегированных». Если младшим сыновьям знатного рода нечего делить кроме «одной трети голубятни и одной трети лягавой собаки», их рассовывают по монастырям и духовным семинариям, и они становятся аббатами доходных приходов, настоятелями, епископами, архиепископами, кардиналами. Насколько обеспечено их положение, показывают цифры их доходов.

Духовенству принадлежит пятая часть французской территории, весьма крупная недвижимость в городах, огромные денежные средства, составившиеся из «доброхотных даяний». Капитальная стоимость его имущества оценивается в начале Французской революции в 4 миллиарда ливров, а его общий доход — в 80—100 млн. ливров в год, не считая взимаемой с прихожан «десятины», составляющей около 123 млн. ливров в год. Суммы эти распределяются крайне неравномерно: львиная доля достается высшей церковной иерархии, а священники захудалых деревень и местечек влачат почти такое же голодное существование, как и последний из их прихожан.

Епископы, архиепископы и настоятели монастырей пользуются в своих округах такими же сеньориальными правами и такими же привилегиями, как и светские дворяне-землевладельцы: подобно этим последним, они взимают феодальные сборы, назначают судебных и муниципальных чиновников и, несмотря на свой сан, запрещающий ношение оружия, широко используют исключительное право охоты. «Вы много охотитесь, господин епископ, — сказал как-то раз Людовик XV епископу Диллону. — Как же вы запрещаете охоту вашим священникам, когда вы сами подаете им в этом пример?» — «Ваше величество! Для моих священников охота является их личным недостатком, а для меня охота — недостаток моих предков». Король не нашелся ничего ответить, ибо в его глазах недостатки предков были обязательными добродетелями для потомков.

И в остальных отношениях князья церкви живут так же, как их великосветские сородичи: у них такие же резиденции, такие же развлечения, такие же пышные приемы, такие же долги, такие же любовницы. От христианства у них остались только рясы, подобно тому, как у владельцев родовых замков от феодального могущества остались

только титулы.

Если посмотреть со стороны на быт, развлечения и интересы этого «высшего света», каждый из принадлежащих к нему людей кажется актером какой-то нелепой комедии.

Люди, обстановка, — все это маскарад, все это отзвуки давно прошедшей эпохи. За титулами не скрывается ничего, что когда-то придавало им значение и смысл: земельные владения в большинстве случаев фактически принадлежат не их номинальным собственникам, а кредиторам; величие дворянского звания ослепляет разве только разжившихся лавочников, которым весьма легко за несколько тысяч ливров прибавить частичку «де» к своей плебейской фамилии; кодекс сословной морали давно изжит, — его заменили изысканность манер, правила вежливости и искусство лицемерия; религия свелась к пустым формальностям, которые внешне соблюдают, но над которыми исподтишка смеются.

Кажется, что расшитые золотом камзолы и шелковые рясы взяты напрокат из какого-то костюмерного заведения.

Сколько стоят нации эти фарфоровые куколки, эти обворожительные графини и маркизы, эти томные и чувствительные виконты, эти вылощенные аббаты, как бы нарочно созданные природой для альковных походов, салонных стихов и любовных записочек? Этого никто не подсчитывает. Сколько тысяч жизней нужно было разбить, чтобы соорудить в дворянских парках затейливые «островки любви», уютные гроты, миниатюрные храмы Венеры и Амура? Этим никто не интересуется. Какое море нищеты и горя расстилается за подстриженными миртовыми рошицами и пышными декорациями Версаля? За декорации никто не заглядывает. Избранному обществу не до того — оно хочет веселиться и предоставляет истории подводить баланс его легкомысленным безумствам и его классовым преступлениям. И пока баланс еще не подытожен, пока банкротство не объявлено во всеуслышание, — комедия сходит за действительную жизнь, актеры — за подлинных повелителей нации.

И занавес долго еще остается неспущенным, и последний акт все продолжается и продолжается, пока комедия не превращается вдруг в трагедию и театральные подмостки — в эшафот.

Такова одна сторона той жизни, которую юный Клод Анри наблюдает в отцовском замке. Он не может, конечно, понять ее внутреннего бессмыслия, но он запоминает ее персонажи, ее стиль, ее общий дух. Картины ее будут ярко стоять перед его глазами, когда, много лет спустя, он будет писать о «классе бездельников». Но где же он знакомится с

тружениками, с теми, кому он в свое время поднесет почетное звание «индустриала»?

Что видно за стенами замка

Чтобы увидеть тружеников, не надо далеко ходить — стоит только выехать за ворота замка, что Клод Анри делает ежедневно. Там перед ним развернутся совсем другие сцены, не имеющие ничего общего с жизнью высшего света. Мало отрадного встретит он там, но много такого, что залегает в сознании глубокой бороздой, тревожащей ум и мучающей совесть.

Быт крестьян того округа, где находится имение графа Сен-Симона (в настоящее время округ входит в состав департамента Соммы), не освещен французскими историками, но зато благодаря тщательным работам Лучицкого, Ланда, Лафаржа и некоторых других нам известно положение крестьян других округов (Артуа, Лимузена, части Пикардии, Нормандии). Выберем из них ту, где, по отзывам современников, земледелие достигло наивысшего развития, — провинцию Артуа, и посмотрим, как обстояло дело в этом наиболее благополучном из земледельческих районов.



Франсуа Огюст Шатобриан (1768–1848)

Общий вид артуазских деревень чрезвычайно жалкий. Дома небольшие, крытые соломой, плохо выстроенные, нередко полуразрушенные, надворные постройки убогие, рабочий скот плохо выкормленный.

Это унылое зрелище скрашивают кое-где крепкие, веселенькие фермы, где живет крестьянская аристократия, и дома зажиточных буржуа, купивших землю на нажитые в городе капиталы. Но таких домов и ферм сравнительно очень немного: они тонут в массе дырявых крыш, соломенных навесов, покосившихся стен, подгнивших плетней. «Нищая страна!» — заключает путешественник, проезжая по этим местам.

Его заключение правильно в большинстве случаев, но далеко не во всех: при более близком знакомстве с этим крестьянским морем в нем оказывается много оттенков, градаций, незаметных с первого взгляда различий, прячущихся под однотонной личиной нищеты, подобно тому, как дворяне прячут свое убожество под личиной показной пышности.

Наиболее многочисленная группа — это мелкие крестьяне-собственники (*journaliers*), владеющие клочком в 1–1½ гектара земли и иногда арендующие столько же у сеньора, близлежащего монастыря или богатого буржуа. Часто у них не имеется рабочего скота, и свои поля и огороды они вскапывают лопатой. Пища — ржаной хлеб, чечевица, каштаны, бобы; мясо появляется только несколько раз в году. Обстановка — две табуретки и огромная семейная кровать, где на соломенном матраце спят вместе и родители, и дети, — вот и весь домашний комфорт.

Следующая группа — середняки (*laboueurs*), имеет значительно большие земельные участки величиной от 6 до 8 гектаров. Большая часть этих участков арендуется и лишь немногие принадлежат крестьянам на правах собственности. У владельцев имеется две-три коровы, лошадь, иногда мелкий рабочий скот (ослы). Питание гораздо обильнее, и мясо является отнюдь не таким уж редким исключением. В рабочую пору в некоторых семьях оно подается на стол почти ежедневно.

Дальше идут крупные крестьяне, владеющие участками в десять-пятнадцать гектаров. В этой группе, составляющей переходную ступень к земледельческой аристократии — фермерам, — и питание, и обстановка, и быт уже совсем другие. Семья ест сытно, одевается в костюмы из крепкого, добротного сукна, спит на приличных кроватях, щеголяет хорошей посудой, стульями, шкафами, но старается не выставлять на вид своего благополучия и живет почти в таких же убогих домишках, как и беднота. Излишне добавлять, что у таких крестьян рабочего скота намного больше, чем у их малоимущих соседей.

Сельская аристократия, арендующая у сеньоров и духовенства большие (по 30–40 гектаров) и благоустроенные фермы, уже не боится показывать свою зажиточность. Чтобы ослабить пыл королевского сборщика податей, у нее имеется гораздо более действительное средство,

чем нищенская внешность дома: взятка обеспечивает ей такие скидки и льготы, которых тщетно стал бы добиваться бедняк. И потому надворные постройки ее содержатся в порядке, крыша ферм не течет, сады и огороды благоустроены, коровы и лошади сыты. Наемный труд, который даже у крупных крестьян играет сравнительно второстепенную роль, является основным условием хозяйства и обслуживает большую часть хозяйственных процессов.

Буржуазные имения стоят особняком от деревни и мало чем отличаются от дворянских. Городская буржуазия, усиленно скупающая землю у разоренной феодальной знати, очень редко ведет самостоятельное хозяйство и предпочитает жить спокойной жизнью рантье, раздавая в аренду крестьянам почти все свои владения. Капиталистический землевладелец-предприниматель еще не успел пустить корни в этой среде: городские богачи стремятся в деревню не для того, чтобы жить сельским хозяйством, а для того, чтобы хищнически эксплуатировать крестьянское малоземелье.

Установить процентное соотношение между этими группами недворянского землепользования не только в пределах всей Франции, но и в пределах одной провинции нельзя. На основании отрывочных данных, охватывающих жизнь отдельных округов, можно однако сказать, что в провинции Артуа, например, большая часть земельной площади находится в пользовании двух первых групп, что доля третьей группы (фермеров) выражается сравнительно небольшим процентом, а территории, на которых ведет самостоятельное хозяйство буржуазия, настолько же незначительны, как и территории, находящиеся в обработке у дворянства. Приблизительно то же самое наблюдается и в других провинциях^[9].

Помимо малоземелья, главным злом крестьянского хозяйства является неопределенность земельных прав, непосредственно вытекающая из системы дворянского землевладения. Желая удержать за собой феодальные привилегии, а с другой стороны — в силу закона, запрещающего отчуждения родовых имений, дворянство очень редко продает землю крестьянам в собственность. В огромном большинстве случаев оно сдает ее в аренду, стараясь при этом возможно более укоротить арендные сроки и вводя в арендные договоры целый ряд условий, дающих землевладельцу право в любой момент под тем или иным предлогом расторгнуть арендный договор. Естественно, что у мелкого арендатора, снимающего свой участок на какие-нибудь 5–6 лет, нет никакого желания улучшать землю, которая может ускользнуть от него даже раньше оговоренного срока. Крупные фермеры, конечно, гораздо меньше подвержены этой опасности, ибо очень

часто не полунисший землевладелец держит их в руках, а они его. Но для средних и мелких арендаторов краткосрочная аренда — жернов на шее, исключающий всякую возможность рационального ведения хозяйства.

Даже в отношении так называемых «свободных» участков, т. е. участков, находящихся в его собственности, крестьянин не может быть уверен в своих правах. По большей части участки эти принадлежали некогда сеньору, а впоследствии, — благодаря отсутствию точных записей или благодаря простой небрежности сеньора и его управляющих, — исчезли из списков сеньориальных земель. Но сеньор может в любую минуту вспомнить о них и потребовать арендную плату за все то время, когда они находились в пользовании крестьянина (иногда за 30–40 лет). Это происходит очень часто и подает повод к бесконечным тяжбам, оканчивающимся по большей части не в пользу крестьянина.

Наконец, арендный договор, устанавливая ежегодные платежи, не считается с урожаем, который в тогдашней Франции чрезвычайно сильно колеблется: уговоренные суммы арендатор обязан вносить полностью, хотя бы он не собрал со своих полей ни одного зерна. Поэтому достаточно бывает одного недорода, чтобы совершенно разорить мелкого земледельца.

Таким образом самые условия землепользования чрезвычайно затрудняют хозяйство и заставляют прибегать к хищническим способам земледелия, крайне истощающим почву. Отсталость сельскохозяйственной техники еще более ухудшает дело.

В XVIII веке в Англии повсюду введено четырехполье, а во многих местах и многополье, — в провинции же Артуа, в лучшей земледельческой провинции Франции, безраздельно господствует прадедовская трехполка. Сельскохозяйственные орудия остались почти такими же, какими они были в середине века. Плуг, гораздо более похожий на соху, сдирает только верхние слои почвы. Борона с деревянными зубьями растаскивает по полю комья земли, почти не разрыхляя их. Все хлеба (и озимые, и яровые) жнут серпом и лишь за последние перед революцией годы начинают пользоваться для жнитва косами, привозимыми из Фландрии. Молотят цепами; молотилка, давно завоевавшая себе в Англии право гражданства, считается опасным новшеством, к которому рискуют прибегать лишь немногие. Благодаря сравнительной малочисленности скота землю унаваживают слабо, иногда оставляя ее совсем без удобрения.

Неудивительно, что средняя урожайность в Артуа почти в полтора раза ниже, чем средняя урожайность в Англии: один гектар земли среднего качества дает год около 50 пудов ржи, а так как недороды повторяются почти каждые три года, то и эту цифру приходится уменьшить на одну

четверть. Средняя урожайность за четыре года составит, следовательно, всего около 40 пудов в год.

Несмотря на малоземелье, ни о каких мелиорациях крестьянство не помышляет, хотя в XVIII веке пустоши и болота занимают во Франции огромные площади, вполне пригодные для земледелия. Объясняется это не только косностью крестьянства и отсутствием у него свободных средств, но и всей вообще системой дворянского землевладения. Пока сеньор не разделал своих пустошей и не осушил своих болот, они сдаются по дешевой цене и служат для пастбищ; но как только земля раскорчевана и осушена, — она разбивается на мелкие участки, сдается в аренду по несравненно более высокой цене и навсегда ускользает из рук скотоводов. Вполне поэтому понятно, что к мелиорациям среднее и богатое крестьянство относится враждебно. Осушка болот и распашка пустошей производятся только крупными землевладельцами, создающими для этого большие компании, но, несмотря на энергичную правительственную поддержку и целый ряд льгот, не приводят к сколько-нибудь значительным результатам.

Недостаток пахотной и луговой земли, малочисленность скота, плохое качество сельскохозяйственного инвентаря, низкие урожаи, — вот отличительные черты сельского хозяйства в Артуа, где земледелие стояло на наибольшей высоте. Легко себе представить, как жилось крестьянству в областях менее благополучных. Чтобы как-нибудь свести концы с концами, оно прибегает к заработкам на стороне. В некоторых районах — Пикардии, Нормандии и других — довольно широко распространены кустарные промыслы, особенно домашнее ткачество, дающее мелким земледельцам добавочный доход. В чисто же земледельческих районах мелкое ремесло развито слабо, и единственным источником стороннего заработка является работа у более зажиточных односельчан.

Большинство крестьянского населения получает от земли и от подсобных заработков не больше того, сколько необходимо для самого скромного существования. Но и из этого незначительного дохода оно вынуждено отдавать огромную долю, достаемую отчасти сеньору, отчасти королевской казне. Сеньору оно платит ренту и феодальные повинности, казне — прямые и косвенные налоги. Если мы прибавим сюда десятину, которую оно платит священнику, местные сборы, идущие на содержание школы и общинных зданий, и натуральные повинности в пользу государства (прокладка и ремонт дорог и т. д.), на долгое время отрывающие его от хозяйственных работ, — то остается только удивляться, каким образом оно вообще умудрялось существовать.



Крестьянин под бременем господствующих сословий. Из книги Сеньяка «Революция 1789 года»

С сеньором оно пытается справиться своими средствами и просто-напросто «забывает» платить ему ренту и сеньориальные сборы, в надежде на то, что землевладелец и его управляющий не станут их требовать. Часто расчеты эти оправдываются, — отчасти потому, что сеньор почти все время живет в Париже или другом большом городе и не следит за делами своего имения, отчасти потому, что у него нехватает средств на ведение многолетних и дорого стоящих судебных процессов. Иногда крестьяне открыто отказываются от уплаты, и тогда их обвиняют в «бунте». Число таких «бунтов» увеличивается с каждым годом. Особенно много становится их в восьмидесятых годах, в период так называемой «феодальной реакции», когда дворянство, изнывающее под бременем неоплатных долгов, разыскивает по архивным записям древние феодальные сборы, давным давно вышедшие из обихода, и аренды, давным давно переставшие уплачиваться. Работу эту выполняют главным образом так называемые «специалисты по феодальному праву» (feudistes), которые скупают у дворян их претензии, а потом проводят соответствующие дела в судах и кладут в карман полученные суммы, во много раз превышающие выданные ими авансы. Это восстановление средневековых повинностей, к тому же по большей части выдуманных, послужило если не причиной, то во всяком случае одним из важнейших поводов к той «войне с замками», которую деревенская Франция объявила дворянству в 1789 году.

К королевским налогам метод «забвения» неприменим. Королевская бюрократия составляет точные списки плательщиков и подлежащего обложению имущества и никогда не забывает того, что причитается казне.

Из многочисленных прямых и косвенных налогов, взимаемых ею, наиболее тяжелы для населения поземельный налог и налог на соль, которые в «наказах» 1789 года часто именуются «адскими податями».

Их отяготительность усугубляется способом их взимания. В помощь королевским сборщикам назначаются выбираемые населением депутаты, которые должны производить раскладку общей суммы налога, падающей на данное селение, между отдельными дворами. В большинстве случаев сборщики безграмотны и отчасти не умеют, отчасти не хотят справиться с возложенной на них задачей. В конечном счете страдает не только население, но и депутаты, ибо они отвечают за поступление налога собственным имуществом. «Эта должность, — говорит в семидесятых годах Тюрго, министр Людовика XVI, — порождает отчаяние и почти всегда разоряет тех, кому она поручена. Таким образом постепенно нищают все зажиточные семьи деревни».

Кроме поземельного и соляного налогов существовали еще и другие виды обложения — подоходный налог, сборы, взимавшиеся при покупке участка в собственность, и т. д. Сборы эти были столь разнообразны и взимание их обходилось так дорого, что даже министры старой монархии подумывали о замене их единым налогом, что впрочем так и осталось благим пожеланием.

Какими же правами обладает этот французский крестьянин, столь бесцеремонно и бесконтрольно обдираемый?

Он — свободный собственник, но именуется «вассалом»; он — как будто полноправный гражданин, а на самом деле — пария, несущий на своих плечах всю тяжесть государственного бюджета; для него существуют те же законы, как и для прочих подданных французского короля, но если он обратится в суд, он не может подавать апелляции на решение судьи ни в какую высшую инстанцию; армия состоит почти исключительно из крестьянских сыновей, но доступ к командным должностям для крестьянина закрыт. Каких бы степеней благосостояния он не достиг, он остается «*taillable corveable*» (т. е. обязан платить поземельный налог и натуральные повинности), и сословные ограничения следуют за ним неотступно, как тень, от колыбели до могилы.

И все-таки, несмотря ни на что, медленно, но верно завоевывает крестьянин французскую землю, — ценой жесточайших лишений, отказывая себе во всем, копит гроши, приобретает участки, покупает фермы и в лице наиболее удачливых своих представителей проталкивается локтями в ряды «буржуа». Сыновьям его удается иногда окончить сельскую школу, уйти в город и из мелких писцов пробраться в университет, а оттуда

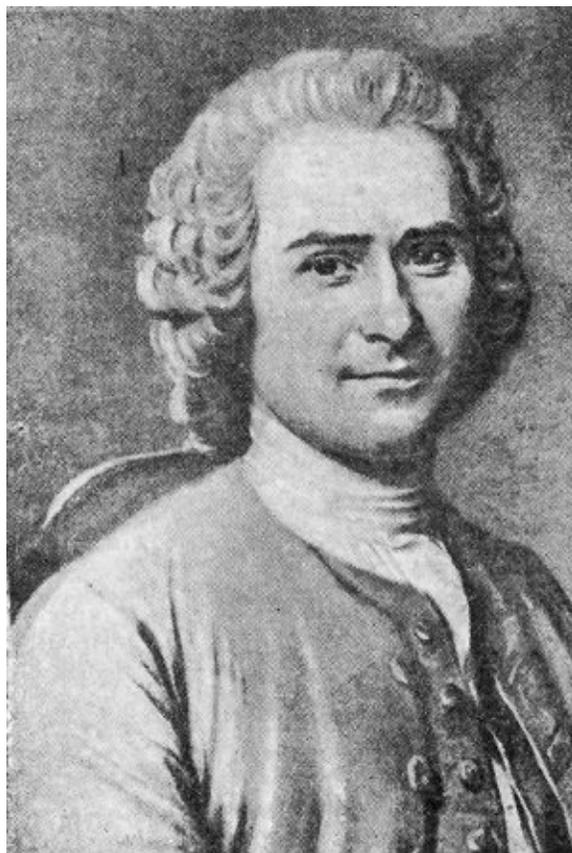
— в судьи или адвокаты. Это — явление настолько частое, что многие мемуаристы с возмущением говорят о «выскачках», которые вместо того, чтобы пахать землю, верховодят в «парламентах» (высших провинциальных судах) и управлениях различных административных ведомств. Крестьянские верхи ползут к власти и, сами того не замечая, скоро доползут до революции. Но это — их «завтра». А сегодня — тускло и бескрасочно. Этот неприглядный, муравьиный труд, это серое существование, поглощенное погоней за грошом, эта узость мысли, не умеющей выйти за пределы злободневных интересов и мелочных забот, не пленяют воображения. Великим мечтателям здесь не за что уцепиться.

Клод Анри вероятно жалеет крестьян, сочувствует их тяжелой доле, невольно сопоставляет их каторжный труд с праздным бытием великосветских «бездельников», но они остаются для него далекими и чужими. Его не тянет к ним, как его не тянет к плутоватым аббатам и титулованным прожигателям жизни. Если там, в замке, вечный маскарад, то здесь, в царстве плуга и мотыги — унылая песня нужды, безрадостная обыденщина, не открывающая никаких заманчивых далей. Впечатления детства, острые и глубокие, хотя и неосознанные, одних навсегда привязывают к родному клочку земли, других навсегда от него отрывают. Клод Анри принадлежит к этой второй категории людей. Чем больше он подрастает, чем глубже всматривается в окружающее, тем ощутительнее проявляется в нем сила отталкивания. Буря вопросов и сомнений, бушующая в его душе, относит его все дальше и дальше и от отцовского замка, и от отцовских вассалов, и от Франции умирающей знати, и от Франции зарождающейся крестьянской буржуазии. «Не здесь твое место, не здесь твоя подлинная родина, — говорит ему внутренний голос. — Не здесь обретешь ты свое великое дело». — «Да где же, где?» — «Где-то там, далеко... Смотри, думай, ищи!»

Первая схватка

Если деревня показывает Клоду Анри общественные противоречия, — противоречия богатства и нищеты с одной стороны, безделья и труда — с другой, то Париж, «город света», вовлекает его в водоворот настроений, в борьбу идей. Эта сторона жизни, скрытая от него в годы детства, все отчетливее и отчетливее вырисовывается перед ним в годы отрочества.

Утренний прием у матери... В 10 часов гувернер приводит его здороваться с «госпожой графиней». Откланявшись и получив родительский поцелуй, он должен немедленно уходить, но часто любопытство превозмогает над послушанием и вместо того, чтобы удалиться, он торчит у дверей и ловит краем уха обрывки полупонятных разговоров.



Жан Жак Руссо. Из книги Сеньяка «Революция 1789 года»

Госпожа графиня, еще не одетая, в утреннем капоте лежит на постели, и, прихлебывая из крошечной чашечки шоколад, принимает посетителей. Их много дамы из «общества», аббаты, какие-то «философы», модные

франты в прекрасных, с иголки, камзолах, плюгавенькие, но родовитые старички. Беседа перескакивает с предмета на предмет, и редкая тема захватывает собравшихся больше, чем на две минуты. Передают последнее острое словцо Вольтера насчет папы, его колкости по адресу его давнишнего врага и соперника — Руссо, и кстати рассказывают о том, что престарелый философ, несмотря на свои годы, подумывает о новой любовнице.

— А вы знаете грустную новость? — ввязывается в разговор молодая дама, которая при слове «любовница» сразу оживилась и подобралась, как полковой конь при звуке сигнального рожка. — У графов Д. страшное горе.

Все настораживаются.

— Графа Д. бросила его любовница, а графиню Д. — ее любовник. И все это в одно время! Супруги безутешны!

Учтиво соболезнуют.

— Но я вам расскажу событие еще более грустное, свидетельствующее о варварстве нашего так называемого просвещенного века, — скороговоркой произносит один из молодых франтов. — Граф С. приревновал свою жену к виконту Р. и устроил ей скандал, о котором бедняжка только что рассказывала на своем утреннем приеме.

У графини СенСимон от удивления вываливается из рук чашечка с пастушком. Она не хочет верить, она не смеет верить.

— Сколь тяжело такое несчастье для чувствительного сердца! — важно говорит один из старичков, запихивая в нос понюшку табаку. — Если ревновать любовницу — судьба всякого любящего мужчины, то ревновать жену достойно только дикаря!

Общество возмущено. Один из молодых людей уверяет, что он прикажет своим лакеям отдубасить мужа-наглеца. «Вам будет аплодировать весь свет», — произносит молодая дама, отвешивая реверанс.

А после этого говорят о графе Сен-Жермене^[10], маге и волшебнике. Граф Сен-Жермен, рассказывает молодой человек средне-помятого вида, по слухам опять появился во Франции. Чудеса его поразительны. Во-первых, он безошибочно извлекает стрелы Амура из всех пораженных мест: опасностей венерических отныне нет, роза лишена ее шипов, и всем любящим сердцам открыто безмятежное, безаптечное, безртутное счастье. Во-вторых, когда прислуга ворует серебряные ложки, он сразу говорит, где их искать. В третьих, достоверные свидетели недавно видели его одновременно в трех местах — в Париже, Марселе и Нанси. В-четвертых...

Мальчику, слушающему в дверях, не удастся узнать, что делает граф Сен-Жермен в четвертых, ибо гувернер берет его за руку и уводит в

класную комнату.

За обедом его никто не выводит. За обедом он сидит и слушает, как собеседники его важного и строгого отца рассуждают о делах государственных.

— Кенэ и прочие физиократы, — говорит только что приехавший из провинции интендант, — давно уже доказали, что основа жизни народной — это земледелие. Только земледельцы — истинные производители. Промышленность и торговля существуют только на излишки сельского хозяйства. Отнимите эти излишки — и наши города превратятся в пустыни, наши ремесла уничтожатся за отсутствием заказчиков, наша цивилизация будет лежать в развалинах. Следовательно, первый долг человека государственного — это поощрять земледелие и помогать нашим сеньорам в деле сельскохозяйственных преобразований. С этой целью я недавно открыл в нашей провинции сельскохозяйственное общество, которое должно издавать агрономические труды, давать премии за лучших коров и лошадей и вообще способствовать процветанию агрикультуры.

— Я никогда не решился бы оспаривать просвещенное мнение вашего превосходительства, если бы я не помнил золотых слов нашего Руссо, — вмешивается в разговор какой-то солидный человек, не то «философ», не то литератор. — Руссо говорит, что наше общество слишком далеко ушло от природы, что цивилизация нас губит, если уже не погубила, и что если нравы наши не вернуться к чистоте первобытной, то нельзя ждать истинного прогресса ни в науках, ни в ремеслах, ни даже в земледелии. Отсюда я позволю себе сделать вывод, что процветанию земледелия наиболее может способствовать наш крестьянин, сохранивший простоту привычек и добродетель нравов.

— Да, добродетель — это великая вещь! — подает реплику с конца стола молодая дама, рассказывавшая на утреннем приеме о несчастьи супругов Д. — Я всегда говорила, что сначала добродетель, а потом уже земледелие. Когда мосье Вольтер озарит своим гением наш темный мир, а мосье Руссо возвысит наши сердца, тогда наши добрые крестьяне удвоят, учетвертят, удесятерят свои урожаи.



Вольтер, диктующий своему секретарю. Из книги Сеньяка «Революция 1789 года»

Дама считает тему исчерпанной и начинает прислушиваться к религиозному спору, который ведется неподалеку от нее. Прислушивается к нему и Клод Анри, потому что как раз об этом была сегодня речь на уроке катехизиса.

— Все несчастье в том, — говорит известный проповедник, — что Христос вышел не из хорошего общества, а из простых плотников. Если бы он жил в наш просвещенный век и имел счастье поучиться у великого Вольтера, мосье Дидро, мосье Ламеттри и прочих великих мыслителей, он не стал бы ничего говорить о боге-отце, о суде над грешниками, о духе святом и вообще обо всем том, что нужно для простых душ, но излишне для людей образованного ума и изящного вкуса. Он сказал бы то же самое, что сейчас говорю я: «Дети мои! Бог — это первый толчок, и ничего больше!»

— А не кажется ли вам, господин аббат, — возражает оппонент, модный литератор, — что первой причиной мы называем вообще все, что мы не понимаем, и что поэтому правильнее было бы сказать: «Бог — это мое неведение!» Если бы назаретский плотник сказал так, то я первый назвал бы его своим другом и пригласил бы к обеду, но при этом попросил бы предварительно вымыться.

— Если бы Христос сказал так, то это значило бы: «долгой церковь!», и

я первый крикнул бы: распни его! Ибо церковь — это главнейший устой государства, — кричит разволновавшийся аббат.

Спор вскоре замолкает, ибо подымается с места граф С., известный любитель и покровитель искусств, и произносит монолог из новой комедии Бомарше^[11], еще не успевшей появиться в печати.

Таких разговоров Клод Анри слышит много, и они раскрывают ему такой запутанный мир отношений и идей, что он не в силах в нем разобраться. Не может разобраться не только он, — не могут разобраться и взрослые. Каскад новых мыслей, низвергающийся на Париж, ошеломляет их; и они, как зачарованные, внимают его рокоту, не замечая, что каскад становится потоком, — тем самым, о котором полушутя, полусерьезно говорили их отцы, — и постепенно захлестывает их замки, их земли, всю Францию.

Как далеко оторвались эти «просвещенные умы» от старого феодального строя, давшего им богатство и власть! Строй этот в сущности уже исчез без остатка: древняя планета феодализма взорвалась и разлетелась на тысячи мелких метеоритов, которые сверкающей пылью носятся над Парижем. К былому не привязывает их ничто, — ни воспоминания детства, давно поблекшие, ни традиции, давно потерявшие свою власть, ни предрассудки, давно изжитые. Родовые поместья для них — это только источник денег, получаемых неведомо за что и неведомо с кого и посылаемых управляющими, которых хозяева в большинстве случаев не знают даже по имени. Чувство сословной чести, скреплявшее некогда правящее дворянство, стало пустым звуком, и представители знатнейших родов не стесняются открывать при своих «отелях» игорные притоны, где рядом с принцами крови разгуливают профессиональные шулера, воры и уличные проститутки. Людей объединяет труд, — этим людям он незнаком. Людей объединяет семья, — у этих людей нет семьи, ибо они убеждены, что любить жену и заботиться о детях ниже достоинства просвещенного человека.

Еще лет двадцать тому назад Монтескье в своих «Персидских письмах» писал: «Мужья смотрят здесь на свою роль добродушно и почитают супружескую измену неизбежным ударом рока. На мужа, который захотел бы исключительно обладать своей женой, стали бы смотреть, как на нарушителя общественного мира». Теперь, в семидесятих годах XVIII века, эту фразу можно повторить с еще большим правом. Наконец, у этих людей нет друзей, хотя чрезвычайно много собутыльников. Каждый из них мог бы охарактеризовать себя словами, которые поэт и драматург того времени Грассе влагает в уста своему герою:

Быть у всех на языке, мешаться во все ссоры,
Во все жалобы, во все связи, во все новые истории, —
Вот мой жребий и мое единственное удовольствие.
Что касается моих друзей, то поверь мне, что пустое слово
«друг», которым меня называют,
Употребляется решительно всеми и никем не принимается
всерьез.
Друзей у меня тысячи и в то же время ни одного...

Многие из них, снедаемые бездельем, размышляют и благодаря полной внутренней отрешенности от какого бы то ни было коллектива додумываются до выводов, несвойственных их положению и противоречащих их классовым интересам. «Вольтер, — пишет в своих записках один из таких «свободных умов», — увлекал наши умы. Руссо — наши сердца. Мы чувствовали тайное удовольствие, видя, как они нападают на старое общественное здание, которое казалось нам устарелым и смешным. Каковы бы ни были наше звание и наши привилегии, каковы бы ни были обломки нашего бывшего могущества, которые растаптывались у нас на глазах, эта маленькая война нам нравилась... Мы аплодировали республиканским сценам в наших театрах, философским речам в наших академиях, смелым произведениям наших литераторов. Свобода, каким бы языком она ни изъяснилась, нравилась нам своим мужеством, а равенство — своим удобством».

Игра в идеи занимает знать пожалуй не меньше, чем игра в карты. Но эти идеи не идут дальше слов, они ни к чему не обязывают, — и в этом их главная прелесть.

Свободе аплодируют, но лишь постольку, поскольку она не мешает. Когда, например, либеральный министр Неккер получает (в 1771 году) отставку, титулованные дамы устраивают ему овации, а принцы крови, парижский архиепископ и множество придворных наносят ему визиты, выражая свое возмущение и соболезнование. Когда парижский парламент накладывает арест на какую-нибудь «опасную» книгу, автор делается любимцем публики, перед ним широко распахиваются двери салонов и раскрываются кошельки. Но если тот же автор непочтительно отзовется в печати о том или ином знатном лице, — оскорбленный или прикажет своим лакеям избить его, как поступил в свое время кавалер де Роган со знаменитым Вольтером, или выхлопочет приказ об его аресте. А если

свободомыслящий Неккер вздумает поговорить об обложении дворянства, — он сразу потеряет свою популярность.

Господин Жан Жак Руссо очень интересно рассуждает о равенстве. Люди чувствительные не могут читать без волнения такие например строки: «Когда видишь горсточку богатых и знатных людей, наслаждающихся почетом и богатством, между тем как толпа пресмыкается в темноте и нищете, оказывается, что первые ценят вещи, которыми они наслаждаются, лишь постольку, поскольку другие их лишены, и что даже сохранив свое положение, они перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным» («О происхождении неравенства среди людей»).

Ездить на поклон к великому Жан Жаку, бросаться ему на грудь, просить его благословения, припадать к стопам «фернейского отшельника» (Вольтера) или ученого Бюффона^[12] — все это в духе времени, все это соответствует хорошему тону. Но это не значит, что во имя равенства следует быть запанибрата с поэтами и драматургами вроде Дюкло, Шамфора, Бомарше или с разной философствующей мелкотой, которую герцог Ришелье кормит изысканными обедами, граф Талейран — утренними завтраками, а принц Конти развлекает литературно-музыкальными вечерами. Признать их за людей своего круга значило бы потерять чувство дворянского достоинства. Достаточно и того, что во имя равенства их сажают рядом с почетными гостями и удовлетворяют их тщеславные претензии синекурами, пенсиями, подарками, хлебосольством.

Для золотой молодежи аристократического общества свобода и равенство (о братстве пока еще не говорят) ценны в сущности лишь потому, что они сулят еще больше расширить круг наслаждений и окончательно снять ярмо стеснительных обязанностей. Идея свободы разрушает авторитет государственной власти, идея равенства — авторитет сословных традиций. «Наслаждайся как хочешь и развлекайся с кем хочешь», — вот какой смысл имеют в переводе на простой житейский язык эти слова для либеральничавшей знати. Если молодую буржуазию Франции они побуждают к действию, влекут на завоевание прав, выковывают классовое сознание «третьего сословия», то в быту старой аристократии они знаменуют лишь упадок и вырождение и вместо творчества порождают бездеятельный и безграничный нигилизм. Одинаковые и там и здесь по своему логическому содержанию, они имеют в обоих этих классах совершенно различное социальное значение: в первом лагере они — возбудители жизни, во втором — смертоносные бактерии. Переносясь на другую социальную почву, они как бы меняют свои знаки, и то, что было

плюсом в одной среде, становится минусом в другой.

Разложение собственного класса, — вот та главная историческая задача, которую выполняют, неведомо для самих себя, вольнодумные великосветские мотыльки. Их нигилизм, отражающий их отрешенность от реальной жизни и их социальную ненужность, действует на их сотоварищей по классу, как могучий яд, уничтожая один за другим все устои сословного мировоззрения, ослабляя силу противодействия, подрывая классовую солидарность знати. Каждый сам за себя, — говорят они, — а это значит: никто ни за кого. Идеи свободы и равенства никуда не ведут индивидуалиста-аристократа, но они разносят по камешкам стены, которыми ограждал себя старый режим, отнимают у знати веру в свои привилегии, в святость своих прав. Конечно, аристократ не склонен добровольно отказываться ни от тех, ни от других, но он уже не склонен и жертвовать собою ради их сохранения. Революция застанет его нерешительным, растерянным, не столько возмущенным, сколько изумленным, и гильотина без особенного труда справится с этим врагом, у которого не осталось иного оружия, кроме мелкой интриги.

Но зато индивидуализм и скептическое умонастроение облегчают творческую работу тем немногим представителям старой знати, которые на нее способны. В жизни этих людей, увлеченных научными исследованиями, индивидуализм опять становится положительным, созидательным началом.

Когда маркиз Кондорсе^[13] пытается установить законы общественного развития, или принц Контти^[14] закладывает основы археологии, или великосветские соратники естествоиспытателя Бюффона изучают анатомию, физиологию, химию, — на их пути уже не стоят сословные и религиозные традиции, стесняющие свободу научной мысли. Свои выводы они могут додумывать до конца, не считаясь ни с церковным «вето», ни с мнениями аристократического общества. В то здание новой науки, которое воздвигают мыслители «третьего сословия» — Гельвеций^[15], Гольбах^[16], Ламеттри, — они внесут и свою долю, далеко не ничтожную.

Многоцветным и шумным потоком реют эти осколки распавшейся планеты на горизонте «города света». Одни из них, наиболее многочисленные, не перелетают за черту аристократической оседлости и до конца своих дней вращаются в орбите «отелей», бальных зал, игорных притонов, уборных актрис. Другие отдают равную дань и наслаждениям, и «просвещению», одинаково незначительные и там, и здесь. Третьи, отброшенные далеко в пространство, опускаются на новое светило, пока

еще темное, лишенное ясных очертаний, неисследованное и загадочное, но уже окрещенное именем «третьего сословия». А четвертые минуют его и уносятся к еще более далеким светилам, к новым общественным классам, которые только еще начинают слагаться из рассеянных социальных атомов.

Третье сословие на политической сцене пока не выступает, но в культурной жизни Парижа 70-х годов оно уже занимает почетное место. Если фабриканты, купцы и заводчики, поглощенные коммерческими делами, мало чем проявляют себя в области «просвещения», то зато верхние слои буржуазии, — финансисты, откупщики, богатые рантье, — держат свои «салоны», не менее блестящие, чем салоны знати. Там собирается цвет литературного и артистического мира, там находит себе приют младшее поколение «философов», шагнувшее дальше «Энциклопедии»^[17]. Оно недовольно осторожностью и недомолвками «деизма», отвергающего христианство, но признающего безличного бога, и проповедует неприкрытый атеизм. Гельвеций и Гольбах — его признанные глашатаи. Они не желают сходить с почвы непосредственного опыта и признают только то, что вытекает из наблюдений над природой и не противоречит разуму. Законы сцепления атомов, вечные, как мир, — вот по их мнению единственная основа космической жизни, не оставляющая места никакому богу и никакой религии. Человек должен познать их во всем многообразии и в согласии с ними построить свое общежитие. В этой задаче разум — его естественный руководитель, а вера — его извечный враг. Только тогда, когда окончательно утвердится первый и окончательно погибнет вторая, начнется золотой век человечества.



Гельвеций со своей семьей. Из книги Сеньяка «Революция 1789 года»

В ногу с «философами» идут поэты и драматурги, и в меру сил и способностей разрушают основы старого мировоззрения. Если Гельвеций и Гольбах ниспровергают бога, то литераторы, применяя учение Руссо на практике, ниспровергают знать. Правда, они кормятся от ее стола, живут ее милостями, но им надоело быть предметом забавы, ручными львами, и они хотят доказать, что у них есть и когти, и зубы. За плохо прикрытое презрение они платят своим покровителям ядовитой и острой насмешкой. Шамфор, получающий выгодные синекуры у принца Конде и графа Артуа, живущий на хлебах у графа де Водрейля и выколачивающий с помощью этих патронов до 7–8 тысяч ливров в год, не стесняется осмеивать высокородных друзей в остроумных комедиях и поносить их в частных беседах. Дюкло, обласканный знатью, издевается над ней на сцене и предостерегает от дружбы аристократов. «Некоторые знатные, — говорит он, — способны к дружбе, но литераторы должны искать ее только у равных себе». Но и Шамфор, и Дюкло продолжают оставаться любимцами и буржуазных, и великосветских салонов, и их популярность среди аристократии затмит только Бомарше, который через несколько лет вложит

в уста своего Фигаро следующие слова, обращенные к знати и облетевшие всю Францию: «Знатность, богатство, чины, места, — все это делает вас гордыми. Но что вы сделали для того, чтобы получить столько благ? Вы только дали себе труд родиться».

Голоса нового поколения доносятся во все «отели». С радикальными «философами» там не соглашаются, но ими интересуются, их слушают, о них говорят. Обрывки этих разговоров долетают и до Клода Анри. В кунсткамере познаний и идей, внушенных ему учителями, появляются новые гости, дерзко расталкивающие ее прежних обитателей. Маленькому человечку, не по-детски вдумчивому и серьезному, наряду с катехизисом, математикой и геральдикой приходится теперь переваривать и естественные науки, и «равенство» Руссо, и бога Вольтера, и безбожие новых мыслителей. Новые учения не расчищают ему дорогу: подслушанные случайно, не освоенные умом, они сростаются в непроходимый лес без просветов и тропинок. И как раз в эту минуту, когда детский мозг изнемогает под непосильной ношей, появляется, как гений-избавитель, новый наставник, мосье Даламбер, которого граф СенСимон пригласил руководить воспитанием сына.



Ж. Даламбер. Гравюра Кошена по рисунку Вателе

Мосье Даламбер — пожилой пятидесятитрехлетний человек, с

необыкновенно живыми глазами, сухой, язвительный и до чрезвычайности трезвый. В созвездии «просветителей» он — звезда первой величины. Он — философ, физик, математик, член академии наук, один из главных редакторов «Энциклопедии». Как и Вольтер, он гостил у Фридриха II и состоит в переписке с «властительницей Северной Пальмиры» — Екатериной II. Его почтили признанием не только читатели «Энциклопедии» но и наиболее могущественные государи Европы. И кроме того, это не какой-нибудь безродный мещанин, а сын — правда, незаконный, — известного генерала Детуша и придворной фрейлины, сестры лионского архиепископа. Такой воспитатель уж конечно не постыдит древней фамилии, и граф СенСимон с верой и надеждой вручает ему своего первенца. Легко себе представить, как шло это воспитание, о котором в свои зрелые годы с такой признательностью отзывался Клод Анри.

Даламбер ставит себе задачу — дисциплинировать ум своего ученика и заботиться не столько о том, чтобы сообщить мальчику новые факты, сколько о том, чтобы помочь ему усвоить изученное, дать его мышлению метод и систему. «Упражняйте свою логическую мысль, пользуйтесь разумом, — говорит он Клоду Анри, — и смело идите, куда бы он вас ни привел. Разум, хорошо направленный, умеющий делать выводы из фактов, непогрешим. Это единственное, что есть непогрешимого на нашей земле», — добавляет он с многозначительной улыбкой.

Клод Анри понимает, в кого метит его наставник. Ясно, что мосье Даламбер подкапывается под папу, этот высший авторитет христианского мира.

— Значит, святейший отец... — начинает несмело мальчик.

— Святейший отец, — обрывает мосье Даламбер, — достойнейший человек. У него прекрасная тиара и замечательная туфля, которую я, впрочем, не имел случая целовать. Но все эти вещи не по моей специальности, дитя мое. О них гораздо лучше и подробнее расскажет вам аббат за уроком закона божия.

И мосье Даламбер сейчас же переходит к предметам своей специальности. Он рассказывает, как, повинаясь закону тяготения, движутся в пространстве небесные тела, как солнечное тепло порождает на земле жизнь, как законы физики и химии управляют всеми процессами растительной и животной жизни, и как упорно, с какими жертвами раскрывает их человеческий разум. На них намекал еще Джордано Бруно...

— А где он теперь, мосье Даламбер?

— Его сожгли на костре больше полутора года тому назад, — резко

отчеканивает мосье Даламбер. — Обращение земли вокруг солнца доказывал еще Галилей...

— Его тоже сожгли, мосье Даламбер?

— Хуже, чем сожгли, — его заставили отречься от своих теорий.

И мосье Даламбер, не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, продолжает набрасывать картину мира. Все там прочно и навеки прилажено к своему месту, все ясно и просто, и ничто, ни в каком уголке вселенной не намекает на управляющую руку.

— Значит, значит... — бормочет Клод Анри, пытаясь подытожить то, что слышит.

— Это значит, что надо прилежно изучать физику и математику, — уклоняется от прямого ответа мосье Даламбер, которого еще никакому иезуиту не удалось изобличить в атеизме.

Так проходят месяцы. Система и метод начинают устанавливаться в голове Клода Анри, поскольку это возможно в столь короткое время. А параллельно с этим подвигается вперед и катехизис, который Клод Анри должен знать назубок, чтобы быть допущенным к причастию. Вот пройдена, наконец, последняя страница, и аббат удовлетворенно говорит:

— В следующее воскресенье ты пойдешь на конфирмацию, сын мой.

Клоду Анри тринадцать лет, и так как ему только тринадцать лет, то он не усвоил еще самой главной науки светского общества — науки лицемерия. А без этой науки мосье Даламбера и аббата примирить нельзя. Эти люди, столь хорошо уживающиеся, дарящие один другому столь учтивыми улыбками, торчат в голове мальчика, как два полюса, и признать одного — значит отринуть другого. А так как мосье Даламбер давно признан, то следовательно...

Мальчик мучается. Не решаясь спросить самого Даламбера, — он ведь знает, как скользок его наставник в щекотливых вопросах, — он хочет разрешить свои сомнения при помощи «Энциклопедии». Она-то уж должна ответить, могут ли с точки зрения физики и химии вино и хлеб превратиться в тело и плоть Христову. Напрасная надежда! Под словом «причастие» имеется только описание возникновения этого обряда и глухо говорится, что учение об этом таинстве основано на вере. Но что же такое вера, может ли она сохраняться наперекор разуму? Перелистав еще несколько страниц этой осторожной и двусмысленной книги, Клод Анри читает:

«Хотя откровение, согласующееся с разумом, может подтверждать его выводы, оно не может в подобных случаях обесценивать его решения; всюду, где имеется ясное и очевидное решение разума, мы не можем

отказываться от него и принимать противоположное мнение на том основании, что это — вопрос веры. Причина этому заключается в том, что мы прежде всего люди и уж потом — христиане».

Итак, разум — верховный авторитет. Разум исключает чудо. Следовательно, разум исключает причастие.

Клод Анри со свойственной ему решительностью делает отсюда практический вывод.

Когда в субботу, граф Бальтазар де СенСимон говорит своему первенцу: «Завтра ты поедешь причащаться», — первенец хмуро и дерзко отвечает:

— Я не поеду.

Граф, пораженный, молчит. Возможно ли, чтобы занимательные идеи обаятельного, учтивого мосье Даламбера приводили к столь диким последствиям? Граф думает, что он ослышался.

— Я не могу поступать наперекор своим убеждениям, — поясняет Клод Анри так же хмуро и дерзко.

Графу мало дела до его убеждений. Граф, может быть, и сам сомневается в чуде пресуществления. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что этого требуют семейные традиции, — ведь не было еще ни одного Сен-Симона, который бы не ходил на конфирмацию — этого требует хороший тон и, что самое главное, долг сыновнего повиновения. Что скажет дядюшка, Нуайонский епископ? Тринадцатилетний мальчишка осмеливается перечить отцу! Куда же мы идем, наконец?

В доме буря. Аббат, прикладывая батистовый платочек к глазам, то и дело повторяет:

— Не нарушайте пятой заповеди, сын мой. Графиня, покрасневшая от слез, через каждые пять минут требует нюхательной соли. Граф заперся в своем кабинете и злоежидет. На следующее утро он слышит тот же ответ:

— Не поеду.

— Там, где не помогает доброе слово, помогают меры строгости, — значительно, веским губернаторским тоном говорит граф и удаляется к себе.

И на другой же день Клода Анри отправляют в крепость Сен-Лазар с препроводительным письмом к коменданту, где говорится, что граф СенСимон, пользуясь своим родительским правом, просит держать сына в одиночном заключении до тех пор, пока его искреннее раскаяние не смягчит отцовского сердца.

Проходят дни, недели. Крепость, очевидно, еще не вразумила упрямаца.

Ну, и что же, подождем, — приказы об аресте возвращали на путь истинный и не таких блудных сынов. А еще немного спустя приносят ошеломляющее известие: Клод Анри не то украл, не то отнял ключи у тюремного сторожа и скрылся неизвестно куда.

Так кончилась первая стычка Клода Анри с жизнью. Отныне он — изгой, имя которого избегают упоминать в семье, и ни время, ни боевые заслуги не засыпят пропасти, легшей между ним и отцовским домом.

Новая Франция

Как выяснилось впоследствии, в крепости Сен-Лазар разыгралась целая драма. Когда Клоду Анри надоело сидеть в одиночке и слушать бой башенных часов, он стал уговаривать тюремного сторожа выпустить его на свободу. Но ни просьбы, ни деньги не действовали: сторож был непреклонен. Тогда, выждав удобный момент, Клод Анри бросился на него, ранил, повалил на землю, отнял ключи и выбрался из крепости. Укрылся он у родственницы, сердобольной тетки, которая приняла в нем горячее участие и вымолила ему прощение у графа Бальтазара.

И вот, Клод Анри опять под отчей кровлей. Но официальное примирение не вернуло ему родительскую любовь, и без того не очень горячую. Домашние косятся на него, отец стал совсем неприступен и на каждом шагу дает понять мальчику, как огромна его вина и как трудно искупить ее. Несмотря на изменившиеся отношения, школьная лямка тянется как и раньше: учителя попережнему сменяют друг друга и попережнему текут непрерывным потоком полезные факты. А приводить их в порядок уж некому, — Даламбера нет, и ни один из новых наставников не может заменить его.

Клод Анри, по внешности покорный, отходит от окружающих так же, как и они отходят от него. Он создает себе свой собственный мир, куда нет доступа ни родителям, ни учителям. Да и как могли бы подойти к нему и понять его эти люди, привыкшие жить по заведенному порядку и думать шаблонными мыслями? Своенравная, увлекающаяся натура юноши непонятна, а его стремление к духовной самостоятельности — в их глазах дерзкое непослушание, которое необходимо сломить во что бы то ни стало. Но теперь это еще труднее, чем раньше: Клод Анри хлебнул свободы, ощутил свои силы и к учителям, пытающимся замкнуть его в духовную тюрьму, применяет тот же способ, какой он с таким успехом испробовал на сен-лазарском стороже. Когда один из наставников, очевидно преподававший неинтересные для Клода Анри вещи, вздумал насильно приохотить его к науке и разложил в классной комнате розги, Клод Анри схватил перочинный ножик и вонзил в задние части тела своего преподавателя. Наставник с позором покинул поле битвы, а граф Бальтазар еще тверже укрепился в мысли, что мальчишка неисправим.

Пока учителя обрабатывают голову Клода Анри скучными лекциями и нотациями, а граф Бальтазар смягчает его сердце взглядами исподлобья,

желчными замечаниями и суровыми приказами, — давнишняя мечта, зародившаяся еще в детстве, окончательно овладевает юношей. Что бы ни говорили домашние, какие бы испепеляющие взоры ни бросал на него отец, — он призван совершить великое дело. Его влечет ни ко двору короля, ни к забавам светского общества, ни к наследственным землям, но задачу возложенную на него судьбой, он выполнит, когда настанет для этого время. Самое главное — не забыть об этом жизненном долге, думать о нем с утра до вечера. В странах Востока муэдзины ежедневно напоминают правоверным об Аллахе неизменным возгласом: «Нет бога кроме бога и Магомет пророк его». «Почему бы и во Франции не применить подобный же метод к людям, отмеченным роком?» — думает пятнадцатилетний Клод Анри и приказывает своему лакею каждое утро будить его одной и той же фразой: «Вставайте, граф, вам предстоит совершить великие дела!»

Клоду Анри исполнилось уже 16 лет, а великого дела, несмотря на напоминания лакея, он все еще не совершил и даже не знает, какую профессию следует для этого избрать. Молодой дворянин его возраста поступает обычно на военную службу. Ну что ж, попробует и он пойти по избитой дорожке, и может быть как раз там осуществляются веления неотступно преследующего его внутреннего голоса...

Отец не возражает: военная карьера так же естественна для дворянина, как иголка для портного. В 1777 году Клода Анри отправляют в Туренский полк, под начало к его кузену, маркизу Сен-Симону, и молодой граф, получивший чин подпоручика, начинает маршировать по плацпарадам гарнизонного городка.

Ему скучно. Гарнизонный офицер того времени не очень обременен делами и может неделями не являться на службу, предоставив муштровку солдат своему капралу. Граф Клод Анри широко пользуется этими вольностями: он ездит в Париж, видается с интересными людьми и с головой погружается в чтение, жадно глотая все, что попадется под руку. Больше всего его увлекает Руссо, и он даже совершает паломничество в Эрменонвиль, резиденцию престарелого философа. Но еще больше, чем Руссо, его увлекает непосредственная жизнь, — новая жизнь просыпающаяся во всех уголках Франции. Он видит только ее поверхностные отражения, но и они достаточно ярки для того, чтобы пробудить множество новых мыслей, новых вопросов.

И в самом деле, трудно представить себе больший контраст с сонной, прозябающей деревней и с праздными великосветскими отелями и замками, чем жизнь крупных промышленных центров Франции. Там все полно шума, движения, деловой суеты, там все грезит широкими планами,

жаждет смелых авантюр, ищет нового приложения накопленным капиталам. Бурный рост промышленности не могут задержать ни статуты устарелых цеховых уставов, сначала было отмененные, а потом снова восстановленные, ни финансовые крахи, ни даже неудачная внешняя политика, приведшая к потере Канады и Луизианы.

Искусно обходя юридические препятствия, растут как грибы крупные торговые и промышленные компании, залечиваются экономические раны, а на дворянские золотые, уплывающие из рук расточительной знати, строятся новые мануфактуры и заводы. Даже Англия, гордая своим флотом и богатствами, боится французского соперничества, и в половине XVIII столетия лорд Честерфильд с сокрушением пишет сыну: «Не говоря уже об обширной торговле французов в Вест-Индии и Ист-Индии, они отняли у нас почти всю торговлю в Леванте, а сейчас они доставляют на все иностранные рынки свой сахар, чем вызывается почти полное разорение наших производящих сахар колоний, как, например, Ямайки и Барбадоса».

Всего ярче сказывается это оживление в области внешней торговли. В начале царствования Людовика XV обороты внешней торговли составляли 215 млн. (по экспорту и импорту), в 1749–1755 гг — 616 млн. в год, в 1756–1763 гг. — 323 млн. в год (падение объясняется семилетней войной), в 1764–1776 гг. — 725 млн. в год, в 1777–1783 гг — 683 млн. в год, в 1888 г. — 1 061 млн. Другими словами, внешний торговый оборот возрос с начала царствования Людовика XV по последний перед революцией год в пять раз, причем начиная с 60-х годов быстрота роста все более и более увеличивалась. Объяснялось это отчасти оживлением торговых сношении с европейскими странами, отчасти — и пожалуй главным образом — развитием французских колоний.

Правда, в 1763 году Франция потеряла Канаду, которая тогда насчитывала уже 60 тысяч колонистов и являлась крупным рынком для французской промышленности. Но зато у Франции оставались богатейшие Антильские острова — Сан-Доминго, Гваделупа, Мартиника. Насколько крупные капиталы вкладывались в эти колонии, видно, например, из того, что на о. Сан-Доминго накануне революции население исчислялось в 27 тысяч белых и 405 тысяч чернокожих. В это время там было 792 плантации сахарного тростника, при которых имелись заводы по первичной обработке, 705 хлопковых плантаций 2 810 кофейных плантаций, 3 097 индиговых плантаций. Все плантаторское хозяйство обслуживалось рабским трудом, и в одном только 1788 году на о. Сан-Доминго было перевезено из Африки 29 506 негров. Торговля неграми была одной из выгоднейших статей французской коммерции, на которой наживали себе

состояния купцы портовых городов.

В 1789 году товарообмен с французскими колониями в Америке составлял 296 млн. ливров, причем импорт в колонии исчислялся в 78 млн. ливров, а экспорт из колоний в метрополию — в 218 млн. ливров. Надо при этом заметить, что из привозимых во Францию колониальных продуктов только около одной трети потреблялось в стране, остальные же реэкспортировались в прочие страны Европы в сыром или переработанном виде.

Внешняя торговля приводила к необычайно быстрому развитию главных портовых городов, в которых, под влиянием заграничного спроса, создавались и крепились новые отрасли промышленности. В 70-х и 80-х годах XVIII столетия Бордо, Марсель, Нант, Гавр, Сен-Мало — цветущие торгово-промышленные центры, нисколько не уступающие крупнейшим портам Англии и Голландии, а в некоторых отношениях даже превосходящие их.

Бордо является центром обширного винодельческого района и снабжает винами и Европу, и колонии. Он ведет оживленную торговлю с Вест-Индией, сахар которой перерабатывается на его рафинадных заводах. В нем широко развито судостроение, увеличивающееся чрезвычайно быстро: за какие-нибудь 6 лет — с 1778 по 1784 год — тоннаж ежегодно сооружаемых в нем судов возрос в 14 раз. Имеются фаянсовые и стекольные фабрики, быстро расширяющие свои обороты. Это торговое процветание сказывается и на внешнем виде города: его широкие улицы хорошо вымощены и украшены множеством дворцов, которые воздвигает торгово-промышленная аристократия. Англичанин Артур Юнг, не очень склонный к восторженности, восхищен Бордо и говорит, что он — лучше всех городов Англии, за исключением только Лондона.

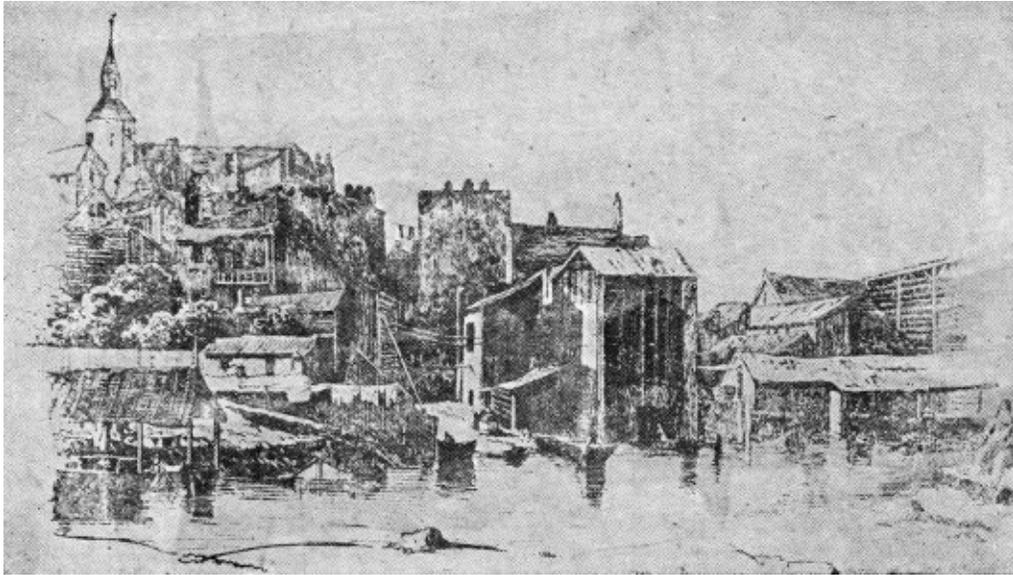
Марсель сосредоточивает в своих руках всю торговлю с Левантом и с большей частью средиземноморского побережья. Наибольшую прибыль он извлекает из торговли шерстью, которая привозится из Леванта, перерабатывается в сукно и драп, а затем в виде тканей снова вывозится в Левант и прилегающие области. Шерстоткацкие заведения, работающие на этом привозном сырье, разбросаны по всему Провансу и Лангедоку. Кожи, импортируемые с Востока, также обрабатываются в Марселе и тяготеющих к нему районах и отсюда поступают на заграничные рынки. В широких размерах ведется торговля сахаром-рафинадом и неграми, забираемыми в Африке у алжирских и марокканских работоторговцев. На судостроительных верфях кипит лихорадочная работа. Естественно, что в Марселе, как и в Бордо, образуются династии торговой знати, располагающей

неслыханными по тому времени капиталами (у одного из мар-сельских негоциантов, например, состояние исчисляется в 30 млн. ливров).

Марсельские коммерсанты и судовладельцы, подобно бордосским буржуа, — люди новой формации. Они не любят считать грошами и двигаться по вершкам. Эти смелые хищники широко и быстро забрасывают свои сети: на собственные средства, без всякой помощи государства, они колонизируют Мартинику, перевозят туда тысячи французов и десятки тысяч негров, заводят новые промышленные предприятия, снаряжают целые эскадры для борьбы с английским флотом, мечтают о торговом завоевании всего бассейна Средиземного моря. А дворцы их по роскоши ничем не уступают «отелям» придворной знати.

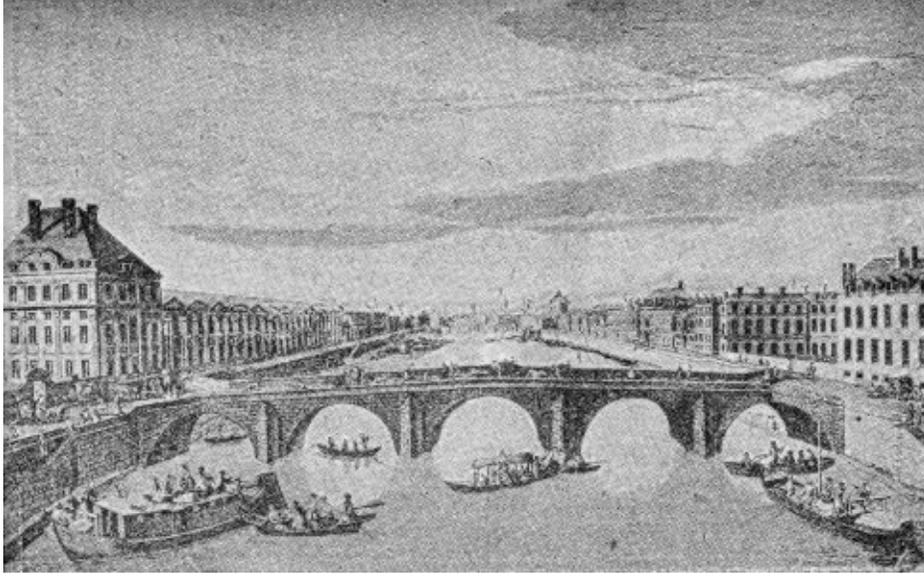
Приблизительно такую же картину можно наблюдать в Нанте, Гавре, Сен-Мало. Несравнимые по размерам с Марселем и Бордо, эти города обнаруживают те же основные черты новой, буржуазной Франции: ту же предприимчивость, ту же смелость коммерческих дерзаний, тот же размах, ту же быстроту накопления.

Из приморских городов капитализм перекидывается и внутрь страны. В Лангедоке развивается суконная промышленность, в Нормандии — полотняная и хлопчатобумажная, в Пикардии и Шампани — шапочная и суконная, в Туре, Роане, Лионе — шелковая, в Арденнах — металлургическая, в Эльзас-Лотарингии — промышленность по производству металлических изделий. Старая техника быстро уступает место новой: ручной труд начинает вытесняться механическим, а паровая машина, вводимая во многих предприятиях, истребляет столько дров, что в некоторых провинциях население приходит в ужас и заваливает интендантов петициями, умоляя положить предел этому беспощадному лесоистреблению.



Кожевенные заводы в Нанте. Из книги Жореса «История социализма»

Но это, конечно, еще только прелюдия к настоящему машинному производству. Фабрик и заводов в современном смысле слова не существует, и господствующим типом предприятия остается попрежнему мануфактура. Нет нового предприятия, нет и нового рабочего. Рабочие еще не стряхнули иго ремесленных традиций, не осознали себя как обособленный класс, и в большинстве случаев покорно идут за теми лозунгами, которые выкидывают их хозяева. Ненавидя аристократию, они не отделяют себя от третьего сословия и, если говорят о равенстве, то понимают под ним, как и буржуазия, не равенство экономической обеспеченности, а равенство юридических прав. И третье сословие, возглавляемое парижскими, марсельскими и бордосскими торгово-промышленными тузами, имеет возможность выступать как единое целое и говорить от имени нации.



Вид Парижа в XVIII веке. Гравюра Лейцельта по рисунку Риго (Музей изящных искусств)

Новая Франция наложила свою печать и на Париж. По окраинам Париж оброс мануфактурами и мастерскими, а в центре его уже возникают новые общественные слои и новые учреждения, противоречащие всему духу старорежимной Франции. Работают крупные торговые компании вроде Индийской компании, ведущей торговлю с Индией и Китаем. Образуется «учетная касса», — крупнейший банк, который учитывает векселя частных лиц, дает ссуды предпринимателям, организует займы для государства. Накануне революции его основной капитал составляет уже 100 млн. ливров, и «учетной кассе» не хватает лишь очень немного, чтобы стать «французским государственным банком». Туда несут свои сбережения преуспевающие адвокаты, разжившиеся лавочники, удалившиеся от дел коммерсанты, и вообще скопидомы всех рангов и сословий.

Сложилась новая социальная группа рантье, — группа людей, живущих на проценты с государственных займов, и потому непосредственно заинтересованных в упорядочении государственных финансов. Она не может терпеливо сносить принудительные позаймствования из «учетной кассы», к которым то и дело прибегают королевские министры, не может мириться с произвольным понижением процентов, с отсрочкой платежей. Естественно, что лозунг «Долой финансовый произвол!» находит в ее среде живейший отклик. А насколько многочисленна эта группа, видно хотя бы из того, что долг французского казначейства составляет накануне революции 4 миллиарда ливров и что по нему ежегодно выплачивается 230 млн. ливров процентов.

Рождается новая Франция — этот факт очевиден всякому. Ростки новой жизни, пробивающиеся сквозь толщу феодальных пережитков, не могут не бросаться в глаза и молодому подпоручику, графу Сен-Симону. Куда бы он ни поехал, он всюду видит, как рядом с сонными, величавыми замками и жалкими, живущими по-старинке крестьянскими хижинами высовываются из земли молодые всходы. Здесь — новая мануфактура с «огневой машиной». Тут, на месте старой непроездной дороги, отличное широкое шоссе, — до революции их проложили на 40 тысячах километрах пути. Там — длинные обозы, везущие в столицу кипы сукна или ящики со стеклянной посудой. Приказчик крупной марсельской фирмы, случайно встреченный в придорожной гостинице, рассказывает, какие чудеса творят марсельские толстосумы. А в Париже чудеса эти сами лезут в глаза, ибо кто же не заметит рядом с «отелями» аристократии новеньких, выстроенных первоклассными архитекторами дворцов финансистов и коммерсантов?

И в то же время сколько ненужных преград поставлено на пути этим новым людям! Каждый из них рассказывает целые повести о том, как ему приходится пресмыкаться перед министрами, подкупать судей и полицейских чинов, чтобы преодолеть какой-нибудь один параграф устарелого и бесполезного цехового закона, сколько сборов и налогов приходится платить, чтобы удовлетворить алчные аппетиты королевских сборщиков. А казначейство пусто, знать расточительна и жадна, и все будущее огромных предприятий зависит от произвола министров, которые одним новым налогом могут задушить самую цветущую отрасль промышленности.

Клод Анри смотрит, слушает и невольно вспоминает замок Берни и его обитателей. Как непохожи друг на друга эти две Франции! Там — граф Бальтазар по трафарету живущий, по трафарету думающий, по трафарету должаящий; здесь — беспорядок, суэта, отсутствие традиций, рискованные начинания, небывалые затеи. Там — птичье стрекотанье дам, холод парадных зал, слова без действий; здесь — напряженная работа и действия без слов. Там — плесень, здесь — буйная молодая поросль. Какая связанность там и какое раздолье здесь!

Всеми фибрами своего восемнадцатилетнего существа впитывает Клод Анри эти лепеты, шумы, грохоты и ропота новой жизни. Они как-то сливаются в одно целое с книгами Вольтера и Руссо, с либеральными монологами театральных героев, с оппозиционными речами салонов, с теориями физиков и химиков, даже с брюзжаньем государственных кредиторов. И понять этот новый мир — не менее заманчивая задача, чем усвоить теории модных философов.

Но восемнадцатилетний Клод Анри еще не готов к ней. На нем еще слишком тяготеют привычки аристократической среды, слишком давит его мозг офицерская треуголка. Нужно какое-то большое событие, какой-то внешний толчок, чтобы освободить сознание от связывающих его пут. Нужна, наконец, новая среда, которая дала бы возможность увидеть в законченном, обнаженном виде тот строй, который во Франции так неясно, так смутно проглядывает сквозь прорехи старорежимного рубища.

Эту неоценимую услугу оказала Клоду Анри, как и многим его сверстникам, американская революция.

Американская война

Пока Клод Анри обучал солдат военному искусству, а сам изучал книги и нравы, Франция мало-помалу втягивалась в новую войну. В 1755 году американские колонии начали борьбу за независимость, и все европейские государства следили за ней с растущим интересом. Во Франции она вызывала особенные симпатии. Это не была обычная война двух держав, где дело идет только о завоевании территории или экономическом обессилении противника; столкновение экономических интересов осложнялось здесь столкновением двух политических систем, двух мировоззрений, из которых одно отражало в себе все требования и стремления широких буржуазных масс, а другое — все принципы и традиции родовой и денежной аристократии. «Обложение без представительства есть тирания», «все граждане равны перед законом», «верховная власть в стране принадлежит народу», — эти и им подобные идеи, провозглашенные филадельфийским конгрессом, звучали вызовом не только по отношению к Англии, но и по отношению ко всем государствам, руководимым привилегированной знатью.

Естественно, что «третье сословие» видело в молодой республике образец человеческого общества и преклонилась перед людьми, на практике осуществившими то, о чем только мечтали передовые философы и идеологи французской буржуазии. Это настроение прекрасно выразил аббат Рейналь, который в своей книге «Революция в Америке», вышедшей в 1779 году, писал: «Европа устала страдать от тиранов. Она восстанавливает свои права. Отныне — или равенство или война. Выбирайте. Все угнетенные народы имеют право восстать против своих угнетателей!»

С другой стороны, англо-американская война имела для Франции и непосредственное экономическое значение. Французская буржуазия, сильно потерпевшая во время неудачных морских войн Франции с Англией, рассчитывала с помощью Америки вернуть отобранные колонии и потерянные рынки. Это настроение разделяли и военные круги аристократии, которые жаждали еще раз померяться силами с «наследственным врагом» и, не дожидаясь официального объявления войны, снаряжали экспедиции в Америку и слали добровольцев в повстанческую армию. Когда, в 1777 году, в Париж приехал для переговоров Франклин, посланный американской республикой, он нашел

уже вполне подготовленную почву. Вскоре французское правительство официально признало новую республику воюющей стороной, обещало ей помощь деньгами и заключило с ней торгово-политический договор. После этого Англии не осталось ничего иного, как объявить Франции войну (1778 год).

Легко себе представить, как действовали эти события на молодого Сен-Симона. Идеи Руссо претворяются в жизнь! Правильность теорий проверяется на полях сражений. За океаном раскрывается обетованная земля, данная в удел свободному человечеству. Как же не принять участия в этой огромной исторической драме, открывающей все возможности для великого подвига? Идеальный интерес, личное честолюбие, жажда приключений, свойственная всякому здоровому юноше, — все это толкало на другую сторону океана, в полулегендарный Новый Свет. В Америку! В Америку! — вот теперь единственная мечта Клода Анри.

В зрелые годы СенСимон, оглядываясь на этот период своей жизни, объяснял свой юношеский порыв чисто отвлеченными мотивами: «Я предвидел, — пишет он, — что революция в Америке обозначает начало новой политической эры, что эта революция необходимо должна была вызвать значительный прогресс в общей цивилизации и что через короткое время она приведет к большим изменениям общественного порядка, существовавшего тогда в Европе». Эти мудрые строки вполне в духе пятидесятилетнего философа, но вряд ли можно предположить, чтобы восемнадцатилетний Клод Анри мог так точно формулировать свои исторические предвидения; еще менее вероятно, чтобы отвлеченные интересы руководили всем поведением юноши, не оставляя места ни увлечению, ни безотчетной страсти к необычному, смелому, большому. В действительности дело, вероятно, обстояло гораздо проще: ничего особенно не предвидя, Клод Анри, одинаково зачарованный и отвлеченными идеями и непосредственной жизнью, захотел поглубже нырнуть в историю и посмотреть, что из этого в конце концов выйдет. И он нырнул туда со всей страстью и пылом своей натуры.

Он подает прошение о принятии его в экспедиционный корпус, отказывается от жалованья, чтобы облегчить прием, и наконец добивается своего. Под начальством маркиза Сен-Симона он поступает в дивизию маркиза Булье и в 1779 году вместе с Туренским полком выезжает в Америку. На помощь этому десанту организуется особый корпус под начальством маркиза Рошамбо, который отправляется в путь несколько позднее и прибывает в Род-Айленд (около Нью-Йорка) летом 1780 года.

О первоначальных военных действиях, в которых принимал участие

СенСимон, никаких данных не сохранилось. Вероятно, до соединения с корпусом Рошамбо крупных операций не происходило, и Туренский полк выступал лишь в незначительных стычках. Корпусу же Рошамбо пришлось довольно долго пробыть на севере, так как крупные английские силы преграждали ему путь к югу и не позволяли соединиться с основным ядром американской армии. Поэтому СенСимон имел возможность наблюдать на досуге быт населения и близко познакомиться с теми людьми, которые стали идолами передовой Франции.

Это — не рыцари без страха и упрека, не борцы за отвлеченные идеалы свободы и равенства. Это — очень практические, себе на уме люди, не брезгающие ни торговлей рабами, ни контрабандой, ни сомнительной честности поставками в республиканскую армию, ни подозрительными торговыми операциями с союзными войсками. Они не прочь поднадуть и свое, и французское казначейство, если к этому представится случай. Они не блещут начитанностью и вкусом: тонкое остроумие мосье Вольтера отскакивает, как резиновый мяч, от этих твердолобых сектантов, верующих в Библию так же твердо, как в священные права собственности. Им очень мало дела до того, как отзовется американская потасовка на всемирной истории. Но зато они крепко, зубами и ногтями, держатся за те принципы, которые необходимы для их существования. «Нам необходимо беспрепятственно торговать, нам необходимо самоуправляться, нам нужно поменьше платить казне и побольше получать с покупателей и запомнить раз навсегда, что здесь, в Новом Свете, каждый стоит столько же, сколько его сосед». На этой основе строится и декларация независимости, и вся конституция новорожденной республики.

Неуклюжие дома в городах, примитивные, плохо сколоченные хижины в необозримых степях и лесных тущобах. Простая одежда, почти одинаковая и у богача, и у рядового колониста. Неприхотливая пища, грубоватые манеры, неотесанный, провинциальный язык. Но зато нет крепостей, специально приспособленных для исправления дворянских сынков и опасных мыслителей. Нет «королевских приказов об аресте». Нет цензуры. Нет «податного сословия» и нет «привилегированных». Лавочники и рабочие хлопают блестящего подпоручика по плечу и величают его просто-напросто «мистер СенСимон». Спрашивают прежде всего, сколько он получает, и никак не могут взять в толк, что значат «сеньориальные повинности» и «пенсии во внимание к древности рода». Счастливое неведение!

А сколько успел понастроить этот народ за то короткое время, когда он начал освобождаться от английской опеки! Давно ли все промышленные

товары были здесь привозные, а теперь работают и ткацкие мануфактуры, и гвоздильные заводы, и металлургические предприятия. «Мы скоро и вас обгоним, мистер», — уверяют янки и хитро подмигивают. Да и наверное обгонят, — как же не обогнать старую Европу такой стране, с такими людьми, при таких политических условиях!

В 1781 году английские отряды вынуждены отступить, и французская армия начинает наконец движение на юг, на соединение с главными американскими силами. Французские войска, формально подчиненные главнокомандующему Вашингтону^[18], часто действуют совместно с американцами, и тут СенСимон видит в бою этих неуклюжих колонистов, которых английские генералы презрительно называют «сбродом».

Американская милиция плохо держит строй, не имеет военной выправки, часто хромает по части дисциплины, но она обладает одним неоченимым качеством демократического войска: она знает, за что борется, и потому умеет терпеливо сносить голод и лишения, усталость и болезни. Оборванные, часто лишенные самого необходимого, американские солдаты, несмотря на частичные поражения, идут по пятам за английскими и немецкими наемниками, прекрасно используют условия местности и с бульдожьим упорством подводят дело к развязке. Руководят ими командиры «без роду без племени», производимые в чин за боевые заслуги. А во французской армии повышения даются исключительно за деньги, по протекции или по родственным связям, и уж конечно ни один ее солдат не смеет и мечтать об офицерском звании. Так война на каждом шагу дает Сен-Симону наглядные политические уроки, излагает принципы буржуазно-демократического государства в их практическом применении и может быть нашептывает ему первые мысли о роли «таланта» в общественной жизни.

СенСимон увлечен своим делом, — и даже не столько самим делом, сколько его конечной целью, которая лишь теперь раскрылась ему в своем конкретном жизненном значении. Он прилежно изучает военное искусство, не щадит себя, становится образцовым офицером, — а повышения все нет как нет, да и домашние как будто забыли о его существовании. Молчит отец, молчат братья, — неисправимый бунтарь Клод Анри по-видимому вычеркнут из их памяти.

Горькая нотка обиды ясно звучит в его письмах на родину.

«При осаде Бринстон Хилля, — пишет он отцу, — мне дали мало приятное, но поучительное назначение. Так как артиллерийский отряд не был достаточно многочислен, то меня присоединили к нему вместе с 150 канонирами-пехотинцами. Я вместе с поручиками и подпоручиками

(lieutenants et sous-lieutenants) корпуса командовал батареями и нес довольно трудную работу. Благодаря этому я получил возможность вступить в довольно оживленное пушечное общение с господами англичанами в течение всей осады; мне кажется, что я содействовал успеху этой экспедиции (т. е. взятию Бринстон Хилля). Но несомненно, что так как я все дни и почти все ночи находился в огне, отчасти по обязанности, отчасти из любопытства, то мои уши привыкли к грохоту бомб, ядер и пуль... Я отделался очень легко — получил всего несколько контузий при взрыве снарядов, но о них не стоит и говорить...

Я надеюсь, дорогой отец и друг, что порядок, в который я вот уже около года привел свои дела, заставит вас забыть сделанные мною глупости. Господин маркиз де СенСимон (кузен Клода Анри) расскажет вам о моем поведении, которому он был свидетелем, и это заставит вас возратить мне вашу дружбу, которой меня отчасти лишила моя молодость. Это мне дороже всего на свете, и вы можете быть уверены, что впредь я не упущу ничего, чтобы ее сохранить и даже увеличить. Мои расходы, даже после того, как я их несколько упорядочил, должно быть кажутся вам довольно значительными, — я это прекрасно чувствую, — но я знаю, что вы не поскупитесь на деньги, если это сможет принести пользу вашим детям. Эта кампания очень поможет моей карьере и следовательно карьере всех моих братьев, ибо вы не сомневаетесь в моей дружбе к ним.

...30 января господин де Водрейль присоединился к нашей эскадре. Он привез письма всем, и я был единственный человек в армии, который ничего не получил. Вы знаете, насколько это тяжело для сына, который больше всего желает заслужить имя вашего друга и который решил своим поведением заставить вас подарить ему свою дружбу. Если некоторые глупости, которые я наделал (...отказался от причастия ... пырнул ножом учителя ... не проявлял должной покорности... — вероятно перечисляет его преступления граф Бальтазар, дойдя до этого места) окончательно лишили меня вашего уважения и угасили в вашем сердце отцовские чувства, которые, как мне известно, всегда у вас были, то убедите по крайней мере моих братьев и сестер относиться ко мне менее строго (трудная задача: как могут братья и сестры простить старшего сына, которому перейдет две трети отцовского наследства?) и извещать меня о вас и о нашей милой больной (матери), ухудшения состояния которой я очень боюсь».

На это письмо ответа не последовало: в 1782 году граф Бальтазар умер.

В конце августа к французскому экспедиционному корпусу прибывает

новое подкрепление в 3200 человек, и СенСимон получает повышение: его назначают командиром артиллерийского отряда. А меньше чем через месяц он уже принимает участие в сражении при Йорктауне, которое решает судьбу всей кампании (в сентябре 1781 года). Английские войска, находящиеся под командой генерала Корнваллиса, разбиты наголову и взяты в плен, и военные операции в главной и решающей своей части кончены. По-видимому, СенСимон играл в этой битве довольно значительную роль, так как Вашингтон написал ему письмо, выражая благодарность лично Сен-Симону и всем офицерам его отряда, а затем представил его к награждению орденом Цинцинната.

Приблизительно в это же время произошел эпизод, оказавший впоследствии большую услугу Сен-Симону. Французские войска захватили английского офицера-лазутчика, который был предан военно-полевому суду и приговорен к расстрелу. СенСимон, пораженный хладнокровием и мужеством этого человека, решил спасти его. Он вызвался присутствовать при казни пленного и за несколько часов до приведения приговора в исполнение воспользовался своим положением (в это время он исполнял должность адъютанта при французском главнокомандующем) и выхлопотал английскому офицеру отсрочку. Вскоре положение на театре военных действий изменилось, и офицер был выпущен на свободу на честное слово (т. е. с обязательством не принимать участия в военных действиях).

Немного спустя СенСимон отправляется на о. Мартинику, бывший одной из морских баз французской армии. Он рассчитывал вернуться на родину, но вместо этого попал в плен и чуть не заплатил жизнью. Вскоре после того, как корабль «Город Париж», на котором ехал его отряд, вышел в открытое море, появилась английская эскадра адмирала Родни и вступила в бой с французами. СенСимон находился при орудиях и давал команду артиллеристам. Неприятельское ядро, залетевшее на французский фрегат, убивает канонира, стоящего рядом с Сен-Симоном, и тот валится на командира, забрызгивая всю его голову своими мозгами. СенСимон контужен: он теряет сознание и падает на палубу. Через несколько минут он приходит в себя и видит, что матросы, считая его убитым, приготовляются выбросить его за борт. Ему кое-как удается провести рукой по голове, и это его спасает: его уносят вниз. Характерно, что даже в этот момент (если верить его рассказу) он не может обойтись без научных изысканий. Когда рука его нащупал на макушке что-то мягкое (это были мозги убитого канонира), — первое, что пришло ему на ум, был научный вывод: «Значит человек может ощущать свои собственные мозги!»

Вместе со всем экипажем французского судна Сен-Симона захватывают в плен и отвозят на о. Ямайку. Тут-то и приходит ему на помощь спасенный им английский офицер, оказавшийся на том же острове. Он берет Сен-Симона на поруки и держит его в своем доме до окончания войны. Это было в 1782 году. Меньше чем через год подписан мир, и СенСимон снова на свободе.

Но он не торопится возвращаться на родину. Он захвачен американской жизнью, пленен бесом коммерческой предприимчивости. Ему хочется поскорее приобщиться к тому творческому практицизму, образцы которого он видел в Новом Свете. Он едет в Мексику и подает мексиканскому вице-королю смелый проект — проект сооружения Панамского канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. Разумеется, проект этот, не соответствующий ни техническим возможностям того времени, ни ресурсам испанского казначейства, проваливается, и СенСимон возвращается на родину (в 1784 году).

Приезжает он во Францию другим человеком. Неопределенные юношеские мечты уступили место вдумчивому и трезвому подходу к жизни. Америка показала ему, как можно сочетать отвлеченные принципы с практической работой, и он твердо запомнил эти уроки. Запомнили их и его соратники, офицеры из аристократического общества. Это целая фаланга аристократов-либералов, которым суждено было сыграть немалую роль в революционных событиях. Маркиз Лафайет, будущий комендант парижской национальной гвардии, деятель трех революций; виконт де Ноайль, один из видных ораторов левой дворянской группы в Учредительном собрании; граф Лозен, будущий командующий французской революционной армией на севере, в Альпах и на Корсике в 1792 и 1793 гг., сложивший голову на эшафоте; граф де Латур дю Пен Гуверне, будущий военный министр революционной Франции, тоже казненный, — все они и многие другие, менее известные, привезли с американского материка новые взгляды, жажду деятельности. Если энциклопедисты расшатали их старую идеологию, то Америка окончательно разбила ее, хотя и не могла пересоздать их классовую природу. Окунувшись в революцию, они остановились на полдороге — и погибли: Америка швырнула их вперед ровно настолько, чтобы отбросить от трона к гильотине.

СенСимон санкюлот

Итак, здравствуй, французская казарма! Встреча для Сен-Симона не очень приятная, хотя на этот раз казарма более милостива к молодому офицеру: его назначают помощником командира в Аквитанский полк, дают чин полковника, назначают две пенсии — в общем до 3 тысяч ливров. Начальство аттестует его очень благосклонно. В 1784 году инспектор армии Шастеллу ставит под его именем отметку: «прекрасный офицер». В 1785 году отметка звучит еще внушительнее: «много усердия и ума» Характеристика — завидная для той эпохи, когда очень хорошей аттестацией считалась фраза: «весьма красивый офицер».

Полк стоит в Мезьере. СенСимон муштрует солдат и по долгу своего звания посещает версальский двор. Трудно сказать, какая из этих обязанностей для него скучнее. «Заниматься военным ученьем летом и ездить ко двору зимой было для меня нестерпимым образом жизни», — писал он впоследствии об этом периоде своей карьеры. К счастью, в Мезьере имеется высшая военно-инженерная школа, одним из профессоров которой состоит знаменитый математик Монж. СенСимон садится на ученическую скамью, прилежно изучает науку и скоро вступает в тесную дружбу с Монжем. Но одним этим нельзя заполнить досуги. Скучно. А тут еще перед глазами неотступно маячат образы Америки: просторы степей, широкие планы, пляска миллионов, подвиги индустрии.



Карикатура на судью-взяточника. Из книги Сеньяка «Революция 1789 года»

Надо ехать вон из Франции. Кроме Америки на земном шаре есть еще одно соблазнительное место, принадлежащее, к несчастью, англичанам, — Индия. Индия должна принадлежать Франции, и задачу эту выполнит граф Клод Анри де СенСимон. Не беря даже отпуска, СенСимон в 1785 году едет в Голландию и там вместе с французским посланником Вогиньоном составляет план: Голландия пошлет эскадру в индийские воды, Франция даст свою армию — и Индия будет наша. Но голландское правительство не рискует ввязываться в столь рискованное дело, и СенСимон в 1787 году уезжает в Испанию.

Зачем? СенСимон вероятно не задает себе этого вопроса. Новая страна сама подскажет предприимчивому человеку новую задачу. И задача, действительно, находится. Около Мадрида начал прокладываться канал для соединения столицы с морем. Ныне канал этот заброшен за неимением средств, но его можно докончить, если найдутся деньги. СенСимон входит в компанию с графом Кабаррю, директором одного из французских провинциальных банков, и предлагает испанскому правительству проект: Кабаррю находит необходимые капиталы, СенСимон доставляет из Франции 6 тысяч рабочих и солдат и берет на себя заведывание работами, а испанское правительство отдает инициаторам дела доходы с канала. Переговоры затягиваются. Но СенСимон не теряет времени зря и между

делом налаживает компанию дилижансов (для Испании того времени — неслыханное новшество), которая должна обслуживать прилегающие к Мадриду районы. Компания уже начинает приносить некоторые доходы, как вдруг из Франции приходит весть: в стране разразилась революция. СенСимон бросает и мадридский канал, и компанию дилижансов, и спешно уезжает на родину (в 1789 г.).

В Париже он застаёт небывалое оживление. Кризис, давным-давно назревший, наконец разразился, и события следуют друг за другом с головокружительной быстротой. 5 июня открываются в Версале Генеральные штаты. Все преисполнены пылких надежд, все восхищены мудростью короля, а между тем не проходит и нескольких дней, как уже назревает конфликт между третьим сословием и короной. Третье сословие считает Генеральные штаты верховным законодательным органом, единым и нераздельным, и хочет заседать вместе с прочими сословиями; король, наоборот, желает ослабить его авторитет и требует, чтобы дворянство, духовенство и третье сословие заседали отдельно.

17 июня депутаты третьего сословия провозглашают себя Национальным собранием. Король сначала колеблется, не зная, какой путь избрать, а потом решает распустить собрание силой и окружает Версаль войсками. Собрание энергично протестует, клянётся не уступать штыкам, но что могут поделать слова против ружей и пушек? Собрание уже начинает готовиться к неминуемому концу, как вдруг «народ Парижа» приходит ему на помощь и 14 июля берет приступом Бастилию. А затем восстание разливается по всей стране, и в течение двух месяцев толпы крестьян и горожан жгут дворянские замки, громят архивы, где хранятся записи феодальных повинностей, и с корнем вырывают все остатки феодализма. В ночь на 4 августа дворяне в Национальном собрании торжественно отказываются от своих привилегий, хотя отказываться уже не от чего: привилегии перестали существовать.

События захватывают все умы. Кроме политики никто ни о чем не говорит — слово «реформа» висит в воздухе. «Считалось хорошим тоном исповедывать самые либеральные принципы, — пишет об этих месяцах в своих мемуарах маркиз Булье, видный деятель придворной партии, — фрондировать против мероприятий правительства, даже выражать желание им противодействовать, наконец объявлять себя сторонниками и покровителями народа, освобождение которого провозглашали, не думая о том, что народ может им злоупотребить; филантропия была догматом дня, которому каждый старался приносить себя в жертву столько же из тщеславия, сколько из усердия. Те самые люди, привилегии и

злоупотребления которых перешли к ним по наследству, не говорили ни о чем, кроме реформ. Люди, больше всего гордившиеся своим рождением и рангом, были апостолами равенства прав; но под кажущимся бескорыстием можно было заметить и у целых групп, и у отдельных личностей намерение и надежду использовать для себя то, что они могли урвать из наследственного достояния короны».

При таком общественном настроении трудно было думать о коммерческих проектах. Прощайте, каналы и дилижансы! Но зато — добро пожаловать, американская действительность, перенесенная на французскую почву! Какое же место может занять в ней СенСимон — полковник без полка, делец без капиталов, аристократ без сословных традиций, теоретик без теорий? На этот вопрос тем труднее ответить, что в этот момент в сущности имеется две Франции, каждая из которых действует своими собственными методами и идет своими собственными путями.

Во-первых, Франция богатого и просвещенного третьего сословия, главные силы которой сосредоточены в Париже. Руководимая буржуазией и левыми группами дворянства, она толкует о политических правах нации, вырабатывает конституцию, старается мирным путем вырвать у короны уступки и задержать революцию на достигнутом уже этапе. Здесь подвизаются Сийесы, Лафайеты, Мирабо, старающиеся пламенными речами, с одной стороны, напугать короля, а с другой — заклясть революционную бурю, которая уже начинает не на шутку их беспокоить. Высокие слова мирно уживаются у них с грязными денежными делишками, героические позы — с трусостью и предательством, и свобода и равенство оказываются своего рода трамплином, помогающим подскочить повыше над головами сограждан.

Во-вторых, Франция безграмотных крестьян и полуграмотных городских мещан и рабочих. Эта провинциальная Франция плохо разбирается в отвлеченных принципах, но она отлично знает, кто ее главный враг и что нужно делать в данную минуту. Вместо того, чтобы спорить о прерогативах короля и правах народа, она жжет замки и архивы, и с бешеной энергией разрушает социальную основу старого порядка. Без всяких лозунгов со стороны, она стихийно, сама собой, объединяет свои силы — создает землячества, провинциальные «братства», общества, клубы, союзы. Разрозненные области она скрепляет в единое революционное отечество и творит тип «патриота» задолго до того, как революционные теоретики подыскали это слово.

СенСимон быстро делает свой выбор. Привыкнув сочетать слово с

действием, он не может стать салонным либералом, к числу которых принадлежат все его товарищи по американской войне. Он хочет отнестись к «равенству» не как к общему принципу, а как к практической жизненной задаче, последовательно провести эту идею во всем житейском укладе и из графа Сен-Симона превратиться в такого же рядового гражданина, каким является например любой колонист американской республики. И учение Руссо, и практические уроки за океаном, и ход событий на родине — все толкает его в этом направлении. Скинь шитый камзол, Клод Анри, оденься в мужицкую куртку, возьми в руки вместо шпаги кирку и лопату, и посмотри, что сможешь ты сделать в этом новом обличьи! И в то время, как дворяне и даже крупные буржуа бегут в столицу и большие города, спасаясь от ярости «черни», — СенСимон уезжает в Пикардию, к землякам, которые вчера были его «вассалами», а сегодня стали «гражданами».

Это — самая интересная страничка сен-симоновской биографии, меньше всего освещенная и меньше всего понятая. Впоследствии он о ней тщательно умалчивал и свою деятельность в эпоху революции описывал очень обще и глухо, — не то из боязни испортить свою репутацию в глазах наполеоновских и бурбонских министров, не то потому, что считал этот эпизод своей жизни «грехом молодости». «Когда я вернулся во Францию, — пишет он сорока восьми лет, в 1808 году, — началась революция, но я не хотел вмешиваться в нее, так как, с одной стороны, я был убежден, что старый режим не может уцелеть, а с другой — я чувствовал отвращение к разрушению; чтобы сделать политическую карьеру, надо было присоединиться или к придворной партии, которая хотела уничтожить национальное представительство, или к революционным партиям, которые хотели уничтожить королевскую власть». Из этого как будто следует, что СенСимон скрестил руки на груди и на целых три года застыл в позе бесстрастного мыслителя, не то с грустью, не то с иронией наблюдающего безумства людской толпы. Так и изображали дело многие биографы, поверившие ему на слово. Все кругом объято пламенем, все забрызгано кровью, все трепещет от страсти, гнева, отчаяния, — а СенСимон где-то не то на чердаке, не то в подвале сидит, как каменное изваяние, и холодными покойническими глазами читает книгу будущих человеческих судеб.

От этой легенды ничего не осталось, когда, — совсем недавно, — Максим Леруа нашел в архивах официальные документы, позволяющие точно установить, как жил и что делал двадцатидевятилетний СенСимон в это бурное время. Вместо статуи перед нами возникает облик подлинного человека, с усилиями и мукой меняющего свою старую кожу, облик Сен-

Симона-опрошенца, порывистого и сумбурного, трогательного и в то же время немножко смешного.

СенСимон поселяется сначала в коммуне Фальви, поблизости от отцовского замка, и живет там с ноября 1789 года по октябрь 1790 года, а потом перебирается в маленький городишко Перонн, куда переехала и его мать, имеющая там небольшой домик. (Что случилось за это время с родовым замком — неизвестно.) Кирку и лопату он, кажется, не берет, но он поддерживает тесное общение с крестьянами и мелкими буржуа, ходит на полевые работы и, по выражению местного документа, «просвещает работников относительно свободы и равенства»; «принимает в матери» бедную крестьянку, потерявшую сына во время одной из революционных стычек, и назначает ей из своих средств — весьма скудных — пожизненную пенсию в 100 ливров в год; пишет для своих земляков петиции и указы в Учредительное собрание в приподнятом и несколько театральном стиле эпохи, — словом, ведет себя так, как вел бы себя хороший школьный учитель, понимающий свои общественные обязанности. Однако, в противоположность своим боевым соратникам, делающим в столице политическую карьеру, он упорно отказывается от всяких выборных постов, считая, что «пока продолжается революция, бывших дворян и священников опасно назначать на ответственные должности».

В феврале 1790 года он председательствует на собрании по случаю выборов мэра в коммуне Фальви и произносит речь, в которой заявляет об отказе от графского титула. «В настоящее время нет более сеньоров, господ; все мы совершенно равны, и чтобы графский титул не привел вас к ошибочной мысли, будто я обладаю большими правами, чем вы, я заявляю, что навеки отказываюсь от этого звания, которое я считаю гораздо более низким, чем звание гражданина, и требую, чтобы мое заявление было внесено в протокол заседания».

Итак, корабли сожжены, и портреты предков выброшены в мусорный ящик? Не совсем. Графский титул одно, а фамильная гордость — другое. Если СенСимон отказался от дворянского звания, это еще не значит, что он должен отказываться от дворянских знаков отличия. Меньше чем через месяц после приведенного заявления он уже бомбардирует своего друга, занимающего видный пост в военном министерстве (тоже «американца») письмами, в которых требует награждения его орденом св. Людовика, который давался исключительно военным из высшей аристократии. 29 марта просьба его удовлетворена, и он может украсить свою грудь новым золотым крестиком. А через месяц, 12 мая, он составляет от имени своего

кантона петицию Учредительному собранию с требованием отмены «позорных привилегий рождения».

Но это — кратковременный зигзаг, отрывка неизжитых еще настроений. По пословице — «назвался груздем, полезай в кузов», — СенСимон хочет сделать все выводы из признанного принципа и немного спустя решает отказаться не только от титула, но и от имени.

Эта последняя жертва — по всей вероятности для него очень нелегкая — вполне в духе времени. Перемена фамилий и имен разрешена специальным законодательным актом и практикуется очень широко. Новое имя должно знаменовать изменение всего характера, всей сущности данного человека. Это — как бы политический паспорт, рекомендующий гражданина вниманию избирателей, и потому фамилия берется обычно из словаря злободневных политических лозунгов, а имя из списка греческих и римских героев. Герцог Филипп Орлеанский, самый богатый из принцев королевского дома, берет себе фамилию Эгалитэ («Равенство»), какой-нибудь захудалый попик, отец Пьер Леруа, становится Пьером Республикой, а будущий народный трибун Бабеф — тезкой знаменитого римского реформатора, Гракхом Бабефом. СенСимон не идет по их стопам: ему нужна не вывеска, а настоящее имя. Он хочет не выделиться из человеческого стада, а, наоборот, затеряться в толпе, стать самым рядовым ее членом, ибо к этому-то и сводится весь смысл его опрощения. Поэтому и имя он выбирает самое простое — прозвище, каким с незапамятных времен окрестили французского крестьянина. Отныне он будет называться Боном («Простак»).

20 сентября 1790 года он является в городской совет города Перонна и делает там соответствующее заявление. Официальный документ описывает это событие следующими словами:

«Гражданин Клод Анри де СенСимон, живущий в этом городе, явился в совет и объявил, что он хочет смыть республиканским крещением пятно своего происхождения. Он просил, чтобы его лишили имени, напоминающего ему о неравенстве, которое разум осудил задолго до того, как его обрекла на гибель наша конституция. Он потребовал, чтобы ему дали новое имя. Совет спросил, какое имя он выбирает, и он выбрал имя «Клод Анри Боном». Совет постановляет, чтобы бывший СенСимон назывался отныне «гражданином Боном» и был внесен под этим именем в поселенные списки коммуны».

А еще немного спустя СенСимон — ныне Боном — приносит в городской совет свой послужной список, американский орден Цинцинната и французский орден св. Людовика, и совет постановляет: бумаги сжечь, а

ордена сдать в канцелярию.

От прошлого как будто не осталось никаких видимых следов: титул, имя, знаки отличия — все сожжено на алтаре республики. Клод Анри Боном начинает жизнь сначала. Но республиканское таинство не в силах искупить первородный грех. Память упряма — она не хочет, не может изгладить образы, запечатлевшиеся с раннего детства. Упрямо и сознание — оно не может не видеть культурной пропасти, лежащей между Боном и его земляками. Крестьянская куртка только прикрыла, но не задушила аристократа. И не пройдет трех лет, как Боном опять станет Сен-Симоном и вспомнит о Карле Великом, а еще через семнадцать лет он будет писать своему племяннику: «Думайте о вашем имени, мой дорогой племянник, и пусть мысль о вашем рождении всегда присутствует в вашей душе... Изучение истории покажет вам, что все самое великое, что было сделано и сказано, было сделано и сказано дворянами. Наш предок Карл Великий, Петр Великий, великий Фридрих и император Наполеон были прирожденными дворянами, и первоклассные мыслители, как, например, Галилей, Бэкон, Декарт, Ньютон, были тоже дворяне».

Но это будет только через семнадцать лет. Сейчас Сен-Симон весь во власти революционных настроений и всеми силами старается служить тому новому строю, прообраз которого он видел за океаном.

Это не значит, конечно, что он лелеет мечты о социальной революции, об отмене индивидуальной собственности, об уничтожении экономических различий. И по характеру, и по воспитанию, и по привычкам он отнюдь не фанатик равенства, не вождь бедняков и обездоленных. Он сочувствует им, желает облегчить их участь, но он совсем не хотел бы передать в их руки государственную власть и поручить им переустройство общества. Он находит вполне естественным тот имущественный ценз, который вводит для избирателей Национальное собрание, и в составляемых им петициях, громящих «позорные привилегии рождения», нет ни одного слова в осуждение этого параграфа конституции. Ведь те же ограничения существуют и в республике Нового Света, — а она представляется Сен-Симону непревзойденным еще образцом человеческого общежития. Но он — последовательный радикальный демократ и не боится идти вместе с «санкюлотами», когда этого требуют обстоятельства. В критические минуты Клод Анри Боном будет делать все то, что делает его тезка — французский крестьянин.

Как только Франция начинает покрываться сетью политических клубов и союзов, Боном организует в своем округе радикальное политическое общество и сам становится одним из деятельнейших его

членов.

Боном приобретает популярность. Ему предлагают пост пероннского мэра, — он отказывается, ибо «до конца революции опасно назначать на какие бы то ни было места бывших дворян и бывших священников».

Боном, по свидетельству официального документа, «дейтельно помогал санкюлотам нашей коммуны, поскольку это позволяли ему средства».

Наконец, Боном не отказывается и от ответственных ролей, если этого требуют интересы нации. 21 июня 1791 года король бежит из Франции. Несмотря на то, что его удалось захватить по дороге, население охвачено паникой: слухи о новых происках роялистов и о предстоящем вторжении иностранных войск разносятся по всей Франции и быстро долетают до Перонна. По примеру прочих коммун, пероннские граждане немедленно организуют национальную гвардию, но начальник ее почему-то не выполняет своих обязанностей. Кого же в таком случае пригласить на этот пост, как не Клода Анри Бонома, храброго и опытного офицера? Боном соглашается, но ставит условие: он будет выполнять эти обязанности не более 24 часов, впредь до приискания нового начальника. Мотив этого решения — все тот же: «опасно назначать на ответственные должности бывших дворян и бывших священников». Боном и на этот раз доводит свой принцип до конца.

Характеризуя его, пероннский городской совет говорит, что Боном всем своим поведением «выказал величайшую приверженность к свободе и равенству».

О свободе и равенстве во Франции этих лет говорят очень многие, но огромное большинство понимают эти идеи лишь в политическом смысле и не рискуют делать из них социальные выводы. Даже в столице не создано еще класса, который был бы способен применить идею равенства к области экономических отношений и от чисто политических требований перейти к мысли о коренном преобразовании всего общественного строя. Это по плечу только пролетариату, осознавшему свою классовую обособленность, а пролетариат конца XVIII века еще не отделился от своего буржуазного окружения и не в состоянии идти своей собственной дорогой.

Правда, мысль о том, что наемные рабочие есть совсем особая категория людей, непохожая на прочие сословия, уже начинает бродить в головах. В некоторых наказах парижских и лионских рабочих депутатам Генеральных штатов говорится о «четвертом сословии», как об особом классе граждан, подчеркивается его бедственное положение, указываются его экономические нужды. Жалуются на то, что рабочие мастерских и

мануфактур работают по 16–18 часов в сутки, что заработная плата слишком низка и ее не хватает на жизнь, что безработица выбрасывает на улицу тысячи людей.

Но какие выводы делаются из этого? — Государство должно организовать благотворительные учреждения, обеспечивающие беднякам питание и медицинскую помощь, должно следить за тем, чтобы заработная плата соответствовала цене жизненных продуктов, должно открыть национальные мастерские, в которых в моменты кризиса могли бы найти работу безработные. Другими словами, государство должно смягчить наиболее болезненные стороны существующего общественного строя, не покушаясь на его основы. Дальше этих скромных требований парижские и лионские пролетарии пока не идут, и даже несколько лет спустя лишь сравнительно немногие из них примкнули к «заговору равных» Бабефа.

Мечты о благотворительных последствиях буржуазно-демократического строя разбивает сама жизнь. Внутренние потрясения и внешние осложнения приводят к страшному экономическому кризису, к небывалому обнищанию масс, и меньше чем через два года после появления скромных «наказов» «четвертое сословие» уже вынуждено отстаивать свое существование собственными незаконными средствами. В провинциях начинаются стачки, забастовщики вступают в открытые столкновения со штрейкбрехерами, а кое-где, несмотря на грозные декреты Конвента, организуются тайные рабочие союзы. Но стачки подавляются, рабочие союзы исчезают так же быстро, как возникают, борьба с отдельными «собственниками» не приводит к общей борьбе с частной собственностью.

СенСимон прекрасно запоминает эту странную пассивность масс, этот поразительный контраст между привольной жизнью богатых политиканов и безропотно умирающей от голода «улицей» (впоследствии он ссылался на этот факт, как на доказательство политической сознательности народа). Но сам он — убежденный собственник, и социальная недоразвитость пролетариата в его глазах — гражданская добродетель.

Социального вопроса касаются и некоторые «филантропы» из буржуазного лагеря. Особую энергию в этом отношении проявляет известный депутат Учредительного собрания Ларошфуко де Лианкур^[19], благодаря настойчивости которого Учредительное собрание в мае 1790 года открывает национальные мастерские, где работает около 11 тысяч человек. Ларошфуко набрасывает довольно широкую программу социальной помощи (устройство сберегательных касс, помощь инвалидам и старикам и т. д.), которая однако не осуществляется. В том же направлении ведет пропаганду и другой филантроп, Ламбер, выдвигающий в своих памфлетах

идею государственной помощи неимущим. Мало отличается от «филантропов» и Марат, опубликовавший в 1789 году брошюру «Проект конституции», где говорится, что всем гражданам, не имеющим собственности и лишенным работы, государство должно обеспечить средства существования, одежду и медицинскую помощь.

Есть, конечно, и более левые представители социальных течений. Авторы утопических романов вроде Тифень де ла Роша и Ретиф де ла Бретонна рисуют картину идеального общественного строя, где путем государственного воздействия устранено неравенство состояний. Указываются даже конкретные мероприятия: периодический передел имущества, отобрание земли у всех земледельцев, не засевающих своих участков, таксация цен на жизненные продукты и т. д.

Одинокий мечтатель Шаппюи идет еще дальше и подает Учредительному собранию ряд докладных записок, где рекомендует ввести во Франции коммунизм и разбить всю страну на определенное число крупных коллективных хозяйств; в хозяйствах этих не существует индивидуальной семьи, мужчины и женщины живут в общежитиях, сельскохозяйственное и промышленное производство ведется по общему плану. Более или менее родственные идеи проводят публицисты Буассель, Госселен, Сильвен де Марешаль, а в начале 90-х годов выступает с проповедью социального уравнивания и Гракх Бабеф. Но в массах эти идеи прививаются слабо, и в своих требованиях парижский пролетариат не идет дальше частичных реформ.

Несколько особняком и от «филантропов» и от коммунистически настроенных публицистов стоит организация, созданная в 1790 году аббатом Фоше, — так называемый «социальный кружок» (cercle social).

Издаваемый кружком орган «Железные уста» («Bouche de Fer») определяет свое направление следующим девизом: «все для народа, все через народ, все народу». «Железные уста» осуждают социальное неравенство, но практическая программа, выдвигаемая журналом, довольно скромна и не выходит из рамки буржуазного строя: учреждение национальных мастерских для безработных, принудительная продажа необрабатываемых земель, ограничение прав наследования таким образом, чтобы стоимость земельных участков, принадлежащих одному лицу, не превышала 50 тысяч франков, — вот содержание того «аграрного закона», против которого мечут громы и молнии не только умеренные, но и монтаньяры. К этой организации примыкают люди из самых различных слоев, но сколько-нибудь сплоченной группы они собою не представляют. Это — не политическая партия, а нечто вроде «союза для изучения

социальной политики». Политическое влияние «социального кружка» слабо, и в 1792 г. он прекращает свое существование.

Эти течения, конечно, не остаются неизвестными для Бонома: он нередко наезжает в Париж, а с некоторыми из филантропов — Ларошфуко и д'Аржансоном — он кроме того связан личными отношениями. Но ни к одному из этих течений он примкнуть не может. Коммунистические идеи ему чужды: он — сложившийся индивидуалист, и общность имущества привлекает его столь же мало, как и наследственные привилегии.

Филантропические планы Ларошфуко, идея о том, что каждый гражданин имеет право на жизнь и должен быть обеспечен работой, не противоречат его мировоззрению, да и картины нищеты, которые он наблюдал в Париже и провинции, не могут оставить его равнодушным. Беднякам нужно помочь, социальные бедствия необходимо если не устранить, то хотя бы смягчить, — эта мысль окончательно укрепляется в нем под влиянием уроков революции. Но он слишком дальновиден, чтобы считать филантропию решением социальной проблемы. В нем все более и более крепнет убеждение, что решить ее может не социальная помощь, а развитие производительных сил. Индустрия — вот подлинный лозунг дня, предпринимательская деятельность — вот наиболее простое и действительное средство исцеления социальных зол.

Чем сильнее овладевают эти мысли Бономом, тем яснее становится ему, что в пероннском захолустьи ему не место.

В самом деле, что делать ему в пероннской коммуне? Стать вождем масс он не может — по его убеждению аристократы, хотя бы и покаявшиеся, не пригодны для этой цели. Хорошо было бы сделаться крупным предпринимателем, но для этого нужны капиталы, а их у Бонома нет. Превратиться в рядового крестьянина и копать землю лопатой? Это можно. Это даст занятие рукам, — но куда девать голову, в которой с утра до вечера роятся планы великих дел? Тупик, безысходный тупик...

Естественно, что, проделав эксперимент «опрощения» до конца, СенСимон принимается за новый. Новое поприще открывается для него с того момента, когда Национальное собрание постановляет приступить к распродаже национальных имуществ (начало 1791 г.).

Земельная спекуляция и тюрьма

С первых же дней своего существования новая конституционная Франция очутилась на краю финансового банкротства. Для погашения четырехмиллиардного государственного долга, оставленного в наследство старым режимом, не имелось никаких средств, и даже проценты по нему нельзя было уплачивать за счет обычных налоговых поступлений. Проект внутреннего займа провалился, — крупные парижские капиталисты отказались на него подписаться. Чрезвычайный налог в размере одной четверти годового дохода дал слишком скромные суммы. Добровольные пожертвования, к которым ораторы Национального собрания призывали французский народ, дали еще меньше. Для предотвращения краха приходилось изыскивать чрезвычайные источники.

Таким источником оказались церковные имущества, стоимость которых по приблизительным исчислениям составляла около 4 миллиардов ливров, т. е. почти равнялась общей сумме государственной задолженности. 2 ноября 1789 года по предложению Талейрана все церковные имущества были объявлены национальной собственностью, в марте 1790 года было постановлено приступить к их продаже, а с конца 1790 года государство начало фактическую их ликвидацию. Выполнение этой задачи было возложено на муниципалитеты, которые должны были покупать у казны национализированные земли и движимость, а затем перепродавать их частным лицам. Муниципалитетам рекомендовалось продавать землю возможно более мелкими участками, дабы как можно шире расплыть ее среди крестьянского населения.

Этот принцип остался благим пожеланием. Началась бешеная земельная спекуляция, в которой принимали участие решительно все, располагавшие свободными средствами. Крупные и мелкие буржуа, чиновники, городские ремесленники, зажиточные крестьяне ринулись к земельным фондам, стараясь захватить наиболее лакомые куски. Покупали землю и бедняки, составлявшие для этого особые ассоциации, но их доля была конечно невелика по сравнению с покупками буржуазии и состоятельных крестьянских верхов. Значительная часть национализированных имуществ оказалась в руках крупных спекулянтов, которые разбивали свои владения на небольшие участки и сбывали мелким покупателям. Эта спекулятивная эпидемия захватила и Сен-Симона.

Земельная спекуляция не противоречила его политическим взглядам,

— наоборот, она логически вытекала из них. Как мы уже говорили, СенСимон был «санкюлотом» не в экономическом, а в политическом смысле этого слова и, ненавидя «привилегии рождения», отнюдь не возражал против личной наживы. Да и с общегосударственной точки зрения ликвидация национализированных имуществ была благодетельной мерой. С одной стороны, распыление церковных земель среди мелких земледельцев должно было способствовать повышению благосостояния крестьянского населения; с другой стороны, реформа эта имела и огромное политическое значение, ибо покупатели церковных имуществ, — а их было очень много, — были непосредственно заинтересованы в сохранении своих новых владений, а следовательно и в упрочении нового строя. Покупать у государства церковные земли значило содействовать успеху революции. Так расценивало распродажу земель общественное мнение, так расценивал ее и СенСимон. Земельная спекуляция представлялась ему не только способом наживы, но и общественной заслугой.

Не оставляя своей политической деятельности в пероннской коммуне, СенСимон в начале 1791 года с жаром хватается за эту новую затею. Собственные его средства для этого недостаточны, и он начинает добывать деньги со стороны. Он то и дело ездит в Париж, ведет переговоры с денежными тузами, старается привлечь Лавуазье (знаменитого химика и в то же время миллионера), но терпит неудачу. Наконец, ему удается заинтересовать в своих планах барона Редерна, прусского посланника, с которым он познакомился еще в Мадриде, и он приступает к делу.

Трудно представить себе более несхожих компаньонов, чем эти два человека. СенСимон — мечтатель, грезящий грандиозными планами, барон Редерн — прожженный делец, не заботящийся ни о чем, кроме личного обогащения. Для Сен-Симона богатство — только средство, для Редерна — самоцель. СенСимон убежден, что, наживая себе состояние, он спасает французскую свободу, Редерну так же мало дела до французской свободы, как до прошлогоднего снега. СенСимон щепетильно честен, Редерн бесцеремонен и подл. Но Редерн — дипломат и так ловко умеет носить маску порядочного человека, что СенСимон принимает ее за подлинное лицо. Даже после того, как Редерн при окончательном расчете ограбил его, СенСимон продолжал апеллировать к его благородству и напоминал о дружбе и высоких идеалах молодости.

В 1791 году эта дружба еще в самом начале, и дележ прибылей не успел омрачить ее. Редерн, еле сдерживая улыбку, терпеливо слушает туманные тирады своего компаньона насчет будущих преобразований и великих общечеловеческих задач и усваивает из них только одно: на этом

деле можно нажать сто на сто, а может быть и больше. А СенСимон повторяет: «кто хочет цели, тот хочет и средств» и развертывает планы широких и смелых операций. Планы хороши, практичны и несомненно должны иметь успех. «Какой великий аферист пропадает в этом мечтателе», — вероятно думает про себя немецкий дипломат, заранее предвидя, какую пользу принесет ему это двуликое существо: «аферист» будет стричь покупателей, а «мечтателя» обстрижет сам барон Редерн.

Редерн дает акции, приносящие 25 тысяч ливров дохода (правда, они несколько обесценены, но Сен Симону все же удается получить под залог их свыше 600 тысяч ливров), затем 150 тысяч наличными; СенСимон вкладывает все свое состояние — 40 тысяч ливров, и операции начинаются. В течение 1791 года он покупает земель на 800 тысяч ливров. Особенно широко развертывает он свою деятельность в 1792 и 1793 гг., после того как были конфискованы земли эмигрантов, имущества сосланных, казненных и т. д. В 1796 году земель приобретено на 4 млн. ливров, и ежегодный доход с них исчисляется в 150 тысяч ливров. Владения эти (не только земли, но и дома) сосредоточиваются главным образом в Северном департаменте, в департаментах Соммы и Па де Кале, в Париже и его окрестностях.

Успех огромный, по всей вероятности намного превзошедший ожидания компаньонов. Объясняется он тем, что СенСимон чрезвычайно умело использовал и особенности революционного законодательства, и общую экономическую обстановку момента. Согласно принятому закону, при покупке национализированных земель можно было вносить только часть стоимости приобретенных участков (от 30 до 12 процентов, — в зависимости от категории данного имущества), остальную же сумму выплачивать частями в течение двенадцати лет. СенСимон обычно продавал часть приобретенных земель, чтобы получить деньги для новых покупок, и таким путем добывал оборотные средства, намного превышавшие первоначальный капитал. Другой способ, практиковавшийся не менее часто, заключался в игре на понижение курса ассигнатов. Ассигнаты, выпущенные правительством в начале революции, представляли собою государственные долговые обязательства, обеспечивавшиеся государственным земельным фондом, и в 1790—91 гг. и начале 1792 года курс их понижался сравнительно очень немного. Но по мере осложнения внутреннего и внешнего положения Франции началось быстрое обесценение их, чему немало способствовали так называемые «черные банды» (компании валютных спекулянтов), скупавшие ассигнаты за 50—40 процентов их стоимости. СенСимон, продав свои участки за

наличные деньги, при посредстве «черных банд» нередко обменивал их на ассигнаты, а этими последними расплачивался за новые покупки. Так как государство принимало ассигнаты по номинальному, а не по спекулятивному курсу, то каждая такая сделка приносила ему немалые барыши. Только благодаря таким приемам ему и удалось в течении пяти лет увеличить затраченный капитал почти в шесть раз.

Даже с точки зрения буржуазных политиков подобные приемы были более чем сомнительны. Многие ораторы Учредительного собрания шли дальше: они называли их преступными и провели ряд законодательных мер, направленных против «черных банд» и игры на понижение. Тревожило ли это революционную совесть Сен-Симона, — неизвестно. Вернее всего, что нет. Ведь «кто хочет цели, тот должен хотеть и средств». Да и кроме того, разве его операции не приносили пользу обществу? Разве он не содействовал успеху государственных продаж? Разве он не распылял крупных владений между мелкими земледельцами? И разве в округе Камбрэ и других местах он не продавал многим крестьянам землю по себестоимости? Эти доводы обезоруживали сомнения, если они вообще у него были, не говоря уже о том, что Америка приучила его к упрощенному взгляду на коммерческие дела.

Пока СенСимон ездит по провинциям и посещает аукционы, общее положение страны становится все тревожнее и тревожнее. С востока границам Франции грозят войска европейской коалиции. Страна с каждым месяцем левеет, Учредительное собрание сменяется Конвентом, и 21 сентября 1792 года Франция провозглашается республикой. Париж неузнаваем. Сословия, состояния, утонченность, грубость, культура, безграмотность, буржуа, аристократы, санкюлоты, — все перемешалось в этом кипящем котле. Нет «вчера» и нет «завтра», есть «сегодня», — одних оно зовет к предельному усилию, к последнему героизму, других — к последней оргии, к последнему наслаждению.

Вот как Шатобриан описывает жизнь столицы в этот период:

«Во всех уголках Парижа происходят литературные собрания, собрания политических обществ и спектакли; будущие знаменитости блуждают в толпе, никому неизвестные, подобно душам на берегу Леты, приготовляющимся насладиться светом... Люди то и дело переходят из клуба фейянов в клуб якобинцев, с балов и из игорных домов к группам, собирающимся в Пале-Рояле, от трибун Национального собрания к трибунам на открытом воздухе. По улицам то и дело проходят народные депутации, пикеты кавалерии, патрули инфантерии. Вслед за человеком во фраке, с напудренной головой, со шляпой подмышкой, в шелковых чулках

— шествовал человек с обстриженными и ненапудренными волосами, в английском фраке и американском галстуке. В театрах актеры сообщали со сцены новости и партер пел патриотические куплеты. Толпу привлекали злободневные пьесы. Стоило только появиться на сцене аббату, как публика кричала ему: «дурак!» — и аббат отвечал: «господа, да здравствует нация!» Поглядев, как вешают Фавра, бежали слушать Мандини и его жену в оперу Буфф.

Аллеи бульвара Тампль и Итальянского бульвара, аллеи Тюльерийского сада были наводнены кокетливыми женщинами. По перекресткам, где кишели санкюлоты, проезжало множество карет, и можно было наблюдать, как мадам де Бюффон восседает в фаэтоне герцога Орлеанского, дежурящем у дверей какого-нибудь клуба.

Изящество и вкус аристократического общества можно было найти в отеле Ларошфуко, на вечерах мадам Пуа, д'Экен, де Водрейль, в нескольких салонах высшей магистратуры, еще открытых. У г-на Неккера, у графа Монморанси можно было наблюдать всех новых знаменитостей Франции и все виды свободы нравов. Сапожник, одетый в форму офицера национальной гвардии, снимал с вас мерку; монах, который еще в пятницу волочил по грязи свою белую или черную рясу, в воскресенье носил круглую шляпу и буржуазный костюм; выбритый капуцин читал журналы, в толпе обезумевших женщин появлялась какая-нибудь важная монахиня: это была тетка или сестра какой-либо из них, выгнанная из своего монастыря. Толпа посещала эти монастыри, ныне открытые для всех, подобно путешественнику, который, блуждая по Гренаде, осматривает покинутые залы Альгамбры.

...Если люди не видели друг друга 24 часа, нельзя было быть уверенным в новой встрече. Одни шли по революционным путям, другие замыслили гражданскую, войну, третьи уезжали в Огио, строя планы новых замков, которые они воздвигнут среди дикарей, четвертые присоединялись к принцам. Все это делалось весело, причем часто люди не имели в кармане ни одного су; роялисты утверждали, что в один прекрасный день все это кончится арестом собрания, а патриоты, столь же легкомысленные в своих надеждах, провозглашали наступление царства мира, счастья и свободы...»

Надо заметить, что несмотря на все это Шатобриан-монархист признает этот период ярким и увлекательным.

Это описание относится к 1791 году. В 1793 году жизнь столицы стала еще оживленнее, но оживление это стало зловещим, трагическим. Казнят короля (21 января 1793 года), но смерть Людовика не устраняет внешних

опасностей и не смягчает внутренних осложнений. Партийная борьба обостряется с каждым днем. Республиканцы раскалываются на умеренных и радикалов (жирондистов и монтаньяров), у монтаньяров образуется левое крыло, возглавляемое Маратом, а народ парижских предместий — рабочие, мелкие ремесленники — идет еще дальше и жадно ловит лозунги экономического уравнивания, которые немного спустя Гракх Бабеф разовьет в стройную революционно-социалистическую систему. Монархическая Вандея, контрреволюционный Прованс объаты восстанием. Тулон сдался англичанам. Предательство, заговоры грозят задушить республику, и настороженное ухо «патриотов» всюду слышит шёпот измены. Муниципалитеты составляют списки «подозрительных», революционные трибуналы работают день и ночь, и часто не только за неосторожное слово, но и за малодушное молчание люди платятся головой.

А СенСимон попрежнему покупает и продает, продает и покупает. Пока гильотина рубит головы, он мечтает об огромных промышленных предприятиях, о научных обществах, совершенствующих материальный быт и общественное устройство. Речи монтаньяров и жирондистов, — думает он, — это только отвлеченные идеи, которые не выведут человечество на новую дорогу, если под ними не будет материального базиса. Только с помощью индустрии можно преобразовать страну. И эта заветная цель как будто уже недалека, — еще несколько миллионов, и можно будет бросить спекуляции и приступить к настоящему творчеству, к «великому делу». Поглощенный этими мыслями, он не замечает, как обстоятельства сплетают вокруг нег сеть, мало-помалу запутывающую его в своих петлях.

Эта сеть — слухи, сплетни, догадки, подсказанные напуганным воображением. «Станный человек, — говорят про него перонские санкюлоты, — он спекулирует национальными имуществами, ворочает большими капиталами, — куда же денет их этот бывший граф?» «Станный человек, — вторят парижские якобинцы, — как будто революционер, — но почему же он якшается с прусским бароном?» «Да и семья неблагонадежная, — поддакивают агенты комитета общественной безопасности: — два брата эмигрировали за границу, туда же бежал и кузен, маркиз СенСимон, член Учредительного собрания, под начальством которого наш патриот сражался в Америке. Странно, очень странно! Подозрительна и его сестра, Аделаида, которая, — как уверяет гражданин Дюбуа, — «сторонится от людей».

9 декабря Аделаиду, урожденную графиню де СенСимон, арестовывают, а еще через несколько дней из Перонна поступает донос и

на самого Клода Анри. В это время СенСимон проживает в Париже, на улице Закона (бывшая Ришелье). Друзья предупреждают его об опасности, и он решает бежать.

Наступает 19 декабря. СенСимон собрался к отъезду. Оседланная лошадь уже дожидается на улице. Одевшись, он спускается по лестнице и в дверях подъезда встречает двух людей, которые обращаются к нему с вопросом:

— Скажите, где тут живет гражданин Симон?

— Во втором этаже, — спокойно отвечает беглец и, пока агенты подымаются по лестнице, вскакивает на лошадь и уезжает.

Узнав, что «подозрительный» уехал, агенты арестовали домохозяина, гражданина Леже, обвиняя его в содействии побегу. СенСимон узнает об этом. Он не может допустить, чтобы из за него погиб невинный человек. В тот же день он является в революционный трибунал и отдает себя в руки правосудия.

Сначала его сажают в тюрьму Сент Пелажи. Он протестует, пишет объяснительные записки, излагает свои воззрения, рассказывает о своей революционной деятельности. Напрасные усилия. Точных обвинений против него нет (по крайней мере в документах их не сохранилось), на гильотину его отправить как будто не за что, но он вышел из подозрительной семьи, дружит с подозрительным иностранцем... Лучше попридержать. Так проходит четыре с половиной месяца. 5 мая 1794 года его переводят в Люксембургскую тюрьму. Это плохой знак, — Люксембургскую тюрьму называют «преддверием смерти», и кто попал туда, почти никогда не возвращается в мир живых.

В переполненной тюрьме душно, нет воздуха, маленькие оконца, сделанные на самом верху, почти не пропускают дневного света. Грязные соломенные матрасы, никогда не меняющиеся, издают тошнотворный запах. Из ведер с нечистотами, поставленных посередине камеры, текут зловонные, едкие испарения. На койках много больных, — их почти не переводят в больницу. Мертвых не убирают по нескольку дней. Кружится голова. Ухо чутко прислушивается к стонам и хрипам, к лязгу окованной железом двери, через которую люди уходят из жизни. То и дело чудится, что там, в коридоре, уже произнесли фамилию «Симон». А тут еще жестокие приступы лихорадки, которой узник заболел вскоре после перевода его в новую тюрьму.

Среди этих тяжких физических и моральных страданий одна только мысль ободряет Сен-Симона: не может быть, чтобы он погиб, не выполнив своего великого дела. Все его прошлое и особенно великий предок тому

порукой. И в разгоряченном мозгу из глубин памяти выплывает образ императора Карла, разгоняя мрак и тоску.

«В самую жестокую пору революции, — рассказывал впоследствии СенСимон, — когда я сидел в Люксембургской тюрьме, ночью мне явился Карл Великий и сказал мне: «С тех пор, как существует мир, никакой семье не выпадало на долю чести родить и первоклассного героя, и первоклассного философа. Честь эта выпала моему дому. Сын мой, твои успехи в философии сравниваются с теми, которые достались мне, как воину и политику». С этими словами он исчез».

27 июля 1794 года (9 термидора по революционному летоисчислению) казнили Робеспьера. Кончился террор, начинается царство «термидорианцев», подготовлявших под эгидой Директории похороны революции. Тюрьмы опустели, — даже явных контрреволюционеров выпустили на свободу. А Сен-Симона все держат и держат, о нем забыли. Наконец, 9 октября 1794 года — почти через четыре месяца после термидорианского переворота — двери тюрьмы распахиваются перед Сен-Симоном, и он снова возвращается к своим спекуляциям и своим мечтам.

Опять покупка и продажа, продажа и покупка... В промежутках между аукционами СенСимон приступает к новым коммерческим начинаниям. В коммуне Бюсси он основывает прядильно-ткацкую полотняную мануфактуру и одновременно с этим создает план выпуска в продажу карт нового, «республиканского» образца. «Никакой республиканец, — пишет он в напечатанном проспекте, — не может пользоваться выражениями, которые постоянно напоминают о деспотизме и неравенстве, а человек с хорошим вкусом не может не возмущаться глупыми фигурами игральные карт и их бессмысленными названиями. Эти соображения навели гражданина Сен-Симона на мысль изготовить новые карты, соответствующие французской республике. Нет более королей, дам, валетов — их заменят гении, свобода, равенство. Их будет увенчивать закон (туз) и т. д.» Таким образом и здесь СенСимон стремится сочетать личную наживу с общественными интересами, — он хочет использовать карты как способ республиканской пропаганды. Надо заметить, что это происходит в 1795 году, когда революция уже на ущербе и бывшие аристократы сотоварищи Сен-Симона по классу, не стесняются сбрасывать республиканско-демократическую личину.

В 1796 году земли и недвижимость, приобретенные Сен-Симоном, оцениваются в 4 млн. ливров и приносят около 150 тысяч ливров дохода. Он надеется получить на свою долю половину этого имущества и живет на широкую ногу. Он собирает в своем салоне ученых и политических

деятелей и надеется в скором времени приступить к осуществлению своих индустриальных планов. Это — самая благополучная полоса его жизни которой, однако, не суждено долго длиться Но в 1797 году возвращается во Францию барон Ридерн, благоразумно удалившийся оттуда в эпоху террора, и благополучию Сен-Симона сразу наступает конец.

СенСимон в эпоху директории

Годы 1795, 1796 и часть 1797 — время, когда материальное положение Сен-Симона блестяще. Дорога к индустриальному творчеству открыта, — миллионеру Сен-Симону легко проводить планы, которые строил когда-то безденежный мечтатель Клод Анри. Но он почему-то не торопится реализовать их. Правда, он разрабатывает проект грандиозного промышленного предприятия. Правда, он организует компанию парижских дилижансов, открывает комиссионное бюро и даже винный магазин. Но это — не серьезные начинания, а кратковременные опыты, которые должны познакомить его с деталями торгово-промышленной премудрости. Ему не хватает главного — общей руководящей идеи, стройного научного мировоззрения, подводящего прочный фундамент под все эти случайные, несвязанные друг с другом попытки. И СенСимон бросает практические эксперименты и вступает на новый путь — он идет к науке и ученым.

Чего, казалось бы, проще? Сесть за книги, колбы и реторты, думать, вычислять — других способов овладения наукой как будто не существует. Но СенСимон не может этим ограничиться. Ему нужно узнать не только научные теории, но и их влияние на психику и общее поведение людей. «Недостаточно знакомиться с состоянием человеческих знаний; нужно знать еще действие, которое оказывает научная культура на тех, кто ей отдается; нужно оценить влияние этих занятий на их страсти, на их дух, на совокупность их морали и на различные их способности». А для того, чтобы изучить носителей науки, ученых, лучшее средство — окунуться в их среду.

СенСимон становится покровителем талантов и гениев, как признанных, так и непризнанных. Он нанимает в округе Пале Рояль — самом оживленном квартале столицы — пышный отель, снимает части двух прилегающих домов и с помощью двух своих сестер организует «салон». В его особняке все поставлено на широкую ногу. Его метр д'отель священнодействовал когда-то в лучших аристократических семьях; его повар славится на весь Париж; его эконоом служил раньше у известного римского кардинала и знает до тонкости, как надо вести хороший дом; у него двадцать лакеев, ловких, вышколенных, в отличной ливрее.

В салоне Сен-Симона собираются все знаменитости: (Тут и члены Директории, и Сегюр, будущий церемонимейстер Наполеона и Буасси д'Англа, один из бывших председателей Конвента, и математики Монж,

Лагранж, Пуассон, и медик-философ Кабанис, и естествоиспытатели Ламарк^[20], Кювье^[21], Жоффруа де Сент-Илер^[22]. Все это люди умеренные, мечтающие о том, чтобы окончательно вырвать Францию из когтей якобинизма и превратить революционного льва в безобидного буржуазного пуделя. О терроре здесь говорят с отвращением, над «патриотами» посмеиваются, слово «гражданин» заменяют словом «господин». И при этом прекрасно и несколько неумеренно кушают, словно стараясь наверстать голод и лишения 1793 и 1794 годов.

Обстановка, как будто мало подходящая для человека, который всего четыре-пять лет назад смывал республиканским крещением пятно своего аристократического происхождения. Что это — измена, подлаживание к новому строю, возникающему на обломках якобинской Франции? Совсем нет — это только новый эксперимент, который должен быть проведен так же последовательно, как и предыдущий. Пора революции миновала, — это ясно видно и по утомлению народных масс, слабо откликающихся на лозунги левых вождей, и по контрреволюционным настроениям, охватившим провинции, и по речам членов Законодательного собрания. Страна переходит к новому историческому этапу и Сен-Симон идет вместе с ней. Куртку санкюлота Бонома он износил до ниток, — надо теперь примерить фрак барина, а потом и тогу ученого.

Этот период жизни Сен-Симона бросает яркий свет если не на развитие его теорий, — их у него еще не сложилось, — то на его человеческую индивидуальность. Сейчас ему тридцать шесть лет, и за восемнадцать лет своего сознательного существования он успел переменить в себе целых три личности, полностью изжитых и друг на друга почти непохожих. Он был солдатом, — настоящим, во всех отношениях превосходным воякой. Был политическим радикалом, — последовательным и в своих убеждениях, и в своем образе жизни. Был талантливым спекулянтом, умеющим ловить момент и неразборчивым в средствах. Теперь это — просвещенный меценат, обучающийся мудрости в собственном салоне. В чем секрет этого странного характера, в котором способности и интересы не объединены, по-видимому, никаким основным мотивом и, не смешивались, лежат друг подле друга, как геологические пласты на изломе горы? И почему каждый талант Сен-Симона живет сам по себе, готовый в любую минуту породить новое перевоплощение? Перед этой загадкой в недоумении останавливались и современники, и биографы Сен-Симона, объяснявшие его жизненные блуждания то «сумасшествием», то «неуравновешенностью». Но откуда же неуравновешенность у этого спокойного, бодрого, во всех отношениях здорового человека?

А между тем разгадка очень проста, если мы рассмотрим личность Сен-Симона не с индивидуальной, а с социальной точки зрения. Кажущаяся мозаичность его натуры, как бы разрезающей и жизнь, и мышление на отдельные, почти несшитые друг с другом куски, есть неизбежное следствие разложения того класса, к которому он принадлежал по рождению. Каждый класс приспособляет индивидуальные особенности входящих в него людей к определенным целям, к определенному образу жизни, к определенным традициям. Он как бы намечает общие колеи, по которым должны двигаться способности и наклонности отдельного человека. Естественно, что когда распадается класс, как это случилось с французской аристократией XVIII века, — колеи сглаживаются, индивидуум освобождается от власти традиций и свободно отдается игре данных от природы сил. А если силы эти велики и дарования многообразны, — игра превращается в бешеную скачку идей; карьера — в серию авантур; жизнь — в цветной ковер, на котором глаз с трудом различает обобщающий рисунок. Именно это и произошло с Сен-Симоном. Отошедший от знати, не вполне сросшийся с буржуазией, далекий от пролетариата, он очутился в пустоте, шел ощупью, без компаса, без карт, без проводников и только на склоне лет понял и свое призвание, и свою задачу. Да и эта задача, равно как и связанные с нею теории определились лишь тогда, когда новая эпоха и новые общественные отношения дали ему руководящую нить.

Сен-Симон, любивший теоретически объяснять каждый свой шаг после того, как он его совершил, впоследствии — в 1811 году — изображал всю свою жизнь, как вывод из усвоенных им философских принципов. «Из самой природы вещей вытекает, — писал он, — что для того, чтобы сделать важный шаг в области философии, надо выполнить следующие условия:

1. В течение всего работоспособного возраста вести жизнь наиболее оригинальную и активную.

2. Тщательно знакомиться со всеми теориями и со всеми видами практики.

3. Вращаться во всех классах общества, ставить самого себя в самые трудные положения, и даже создавать отношения, которых вообще не существовало.

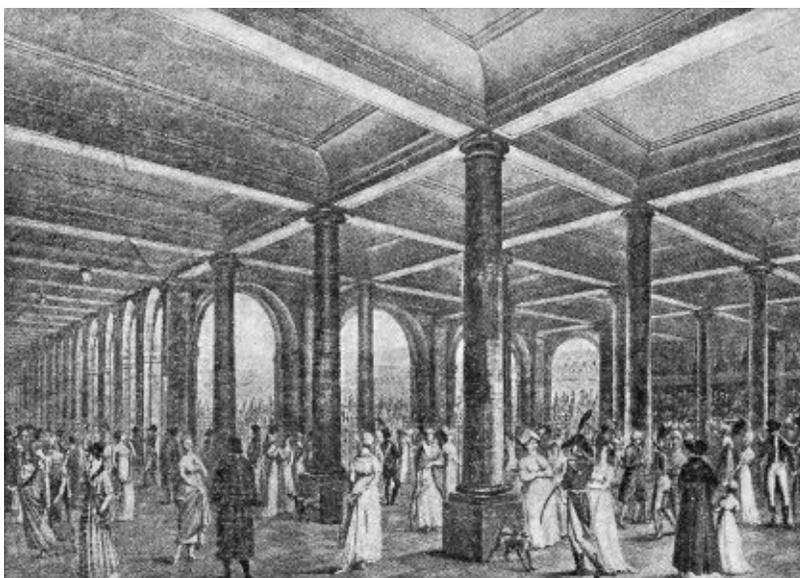
4. Наконец, стараться резюмировать наблюдения относительно тех результатов, которые проистекают из действий философа для других и для него самого, и устанавливать принципы на основе этих наблюдений.

Я всеми силами стремился к тому, чтобы как можно точнее узнать нравы и мнения различных классов общества. Я пользовался всяким

случаем для того, чтобы входить в общение с людьми всевозможных характеров и всевозможной нравственности, и хотя подобные изыскания сильно вредили мне в общественном мнении, я отнюдь не жалею о них».

На самом деле принципы эти существовали и действовали задолго до того, как он сумел их сформулировать. Это — не отвлеченные выводы ума, а стороны характера, неслаженность и хаотичность которых вполне соответствует шаткости и неопределенности его классового положения. У средних людей это приводит к погоне за приключениями, к беспринципному авантюризму. Но у Сен-Симона способности слишком велики, чтобы размениваться по мелочам. Каждая из них добивается полного своего выражения, требует себе всего человека и при определенных внешних условиях создает в одной и той же личности новый, вполне законченный тип. Сен-Симон одержим своими талантами: они гонятся за ним по пятам, как свора гончих, и не оставляют его в покое, пока он не реализует их до конца. Систематическая бессистемность, — вот основная черта его поведения, предуказанная ему эпохой, распадом его класса и обстоятельствами его личной жизни.

Переломные эпохи истории чрезвычайно богаты такими типами. Конец XVIII века и начало XIX буквально кишат людьми, жизнь которых — сплошной приключенческий роман. Но у всех у них — и у гениального проходимца Казановы, и у гениального предателя Фуше, и у гениального полководца и карьериста Наполеона сквозь пестроту внешних декораций всегда проглядывает одно и то же лицо. Все они с величайшей легкостью переходят от одного положения к другому, используя каждое из них для личных и притом весьма низменных целей и не сливаясь внутренне с той ролью, которую они временно выполняют. У них есть маски, но нет перевоплощений. Иное дело Сен-Симон. При каждой своей аванюре, при каждом новом опыте он как бы пересоздает самого себя, стараясь быть не тем, что он есть, а тем, что наиболее соответствует данной профессии или данному положению. «Моя жизнь была серией экспериментов», — говорит он. Он забывает, однако, добавить, что при каждом таком «эксперименте» наблюдатель сливался с наблюдаемым и не экспериментатор владел экспериментом, а скорее эксперимент владел экспериментатором.



Палэ-Ройяль во времена Директории. Гравюра Кокере по рисунку Чарбица (Музей Изящных искусств)

Изжить полноту жизни и уже потом философски осмыслить ее — такова цель. В 1796 году СенСимон все еще осуществляет только первую половину задачи и никак не может перейти ко второй. Богач, покровитель наук и искусств, он изучает в пышном салоне своих ученых собеседников и собутыльников и так увлечен своей новой ролью, что как будто долго еще не намерен с ней расстаться. Он не изменил своему республиканизму: он просто изжил его и забыл о нем. Сколько времени продлится это новое перевоплощение? По всей вероятности, до тех пор, пока не будут истрачены те два миллиона, обладателем которых он себя считает. Срок этот, может быть, и не такой уж долгий, судя по тому, что за 20 месяцев СенСимон истратил (по скромным подсчетам) около 360 тысяч франков^[23], т. е. почти одну пятую часть состояния. Но граф Редерн, ревнивым оком следящий из-за границы за хозяйничаньем своего компаньона, решает положить этому предел. В 1797 году он приезжает в Париж, производит раздел имущества, и привольному житью Сен-Симона наступает конец.

Редерн — юридический владелец всего имущества, купленного на его имя Сен-Симоном, и его вердикт не подлежит обжалованию. Он подсчитывает расходы Сен-Симона, преувеличивая их при этом втрое, и решает, что 150 тысяч франков будет достаточным вознаграждением для его компаньона. Себе он оставляет состояние, приносящее 100 тысяч франков в год. СенСимон спорит, доказывает моральную неправоту своего вероломного друга, потом ссорится с ним, но Редерн неумолим. Приходится покориться и переезжать из отеля в скромный особняк

неподалеку от политехнической школы.

Стиль жизни сразу меняется. Наступает новое перевоплощение: СенСимон начинает прозаически, школьнически изучать науку. Сначала он хочет одолеть «физику неорганических тел», а потом перейти к физике тел органических, т. е. к зоологии, физиологии и отчасти медицине. Он прилежно ходит на лекции, заводит знакомство с профессорами, открывает им свой дом и, конечно, свой кошелек. Одновременно с этим он основывает бесплатные курсы по естественным наукам для несостоятельных людей, желающих подготовиться к поступлению в высшую школу. Ни о спекуляциях, ни о промышленной деятельности СенСимон больше не думает, и все его начинания имеют в виду исключительно научные цели: он ассигнует деньги на постановку физических опытов, печатает на свой счет «Курс медицинских исследований» д-ра Бюрдена, дает ежемесячные субсидии Бюрдену, физиологу Прюну и химику Клуэ.

Через три года, по изучении физики и неорганической химии (при тогдашнем состоянии науки это был порядочный срок), он приступает к изучению «физики органических тел» и переезжает в другой квартал, неподалеку от медицинской школы. Опять открывается салон, посетителями которого являются преимущественно ученые. Знаменитые физиологи — Биша, Галь, Бленвиль, Кабанис — постоянные гости СенСимона. Как-то раз, в разговоре со своим приятелем Пуассоном, СенСимон бросает мимоходом фразу:

— Для салона необходима хозяйка. Мне придется жениться.

Вскоре СенСимон приводит эту мысль в исполнение и делает предложение Александрине Гури де Шантрэн, молодой писательнице, пишущей под псевдонимом мадам Бавр. Женщина, которую он избрал своей официальной подругой, вполне соответствует его цели. Обстановка раннего детства, авантюристский характер отца, материальные невзгоды, политические встряски (во время террора мадам Бавр была арестована и довольно долго просидела в тюрьме), — все это развило в ней как раз те качества, которые необходимы хозяйке сен-симоновского салона: свободу обращения, презрение к условностям, умение приспособляться к людям. Ничего другого СенСимону не нужно: интимная близость, существующая между мужем и женой, только осложнила бы намеченный эксперимент.

Мадам Ансело, подруга мадам Бавр, так описывает обстоятельства этого брака. «СенСимон хотел жениться на умной женщине, которая понимала бы все, была бы хорошо воспитана, умела бы ко всем подойти, — женщине, которую больно ударили несчастья этой эпохи и которая согласилась бы на все. Он женился на ней на три года с обязательством

дать ей развод, что было довольно легко при существовавших тогда правилах. По окончании трех лет она должна была получить заранее условленную сумму и затем становилась совершенно чужой Сен-Симону... Тем не менее мадам Бавр согласилась на это только под одним непременным условием, — чтобы брак, дающий ей имя Сен-Симона, ограничился только формальностями, обеспечивающими в глазах света ее права. СенСимон принял эти условия».

СенСимон, вечный путешественник, поступил в данном случае, так же, как поступали некогда капитаны дальнего плавания, останавливавшиеся в портах Японии. Капитаны женились на столько-то месяцев или столько-то рейсов. СенСимон женится на один рейс: его корабль никогда не возвращается в одну и ту же гавань. Когда корабль выедет из порта, об этом кратковременном эпизоде не останется даже воспоминания.

«Я воспользовался браком, как средством для изучения ученых, — рассказывал он впоследствии писателю Леону Галеви. — Но мои ученые и артисты много ели и мало говорили. После обеда я садился на кушетку в углу салона и слушал. К несчастью я слышал по большей части только пошлости и засыпал».

В личном общении и салонных разговорах СенСимон проявляет те же черты характера, как и в своих многочисленных перевоплощениях. Всегда мягкий, всегда утонченно, по-аристократически любезный, он поражает собеседников резкими переходами: он то вял и туманен, то меток и остроумен, то напыщенно возвышен, то грубо циничен. В каждый отдельный момент это как будто совсем другой человек. Шутки его, произносимые самым серьезным тоном, ставят в тупик окружающих. «Зачем вы скупаете ассигнации? — спросила его как-то мадам Бавр. — Они ведь потеряли всякую цену». — «Я хочу побольше набрать их, чтобы потом поджечь ими собор Парижской Богоматери» — невозмутимо отвечу СенСимон. Такие шутки немало способствовали той репутации «сумасшедшего», которая установилась за философом среди так называемого «общества».

Салон, возглавляемый мадам Бавр, продержался недолго: через год от состояния Сен-Симона почти ничего не осталось. Эксперимент кончен, нужда в официальной жене миновала, СенСимон, верный обещанию, дает мадам Бавр развод и уговоренную сумму (24 июня 1802 г.).

Вскоре после развода с мадам Бавр Сен-Симону приходит в голову новая идея. В городишке Коппе, неподалеку от швейцарской границы, проживает сейчас мадам Сталь^[24], замечательная писательница и

выдающаяся политическая деятельница. Какое замечательное сотрудничество установится и какое замечательное выйдет потомство, если сочетать такого необыкновенного мужчину, как он, с этой необыкновенной женщиной! Кстати, она только что овдовела. СенСимон лично незнаком с мадам Сталь. Тем не менее он едет в Коппе, делает ей предложение — и получает отказ.



Анна-Луиза-Жермень-Сталь. Гравюра Бувье по его же портрету (Музей Изящных искусств)

Этим кончаются его брачные опыты, если можно назвать этим именем — в одном случае поиски хозяйки дома, в другом — поиски научной сотрудницы и хорошей производительницы. Трудно, конечно, допустить, чтобы у такого сильного и здорового человека, как он, не было кратковременных связей. «Я мог бы рассказать о себе очень пикантные анекдоты», — признается он. У него есть дочь, — следовательно, где-то и когда-то была и жена, более реальная, чем мадам Бавр. Сплетни великосветских кумушек насчет «безнравственности» Сен-Симона как будто находят некоторое подтверждение в его собственных словах: «Чем экзальтированнее душа, тем более она доступна страстям, а между тем для рассмотрения великих философских вопросов во всей их широте необходима наибольшая степень экзальтации. Не следует поэтому удивляться, что философы-теоретики поддаются игу страстей больше, чем другие ученые». Из этого, по-видимому, вытекает, что и философ СенСимон не мог не «поддаваться игу страстей» и притом довольно сильных. Но никаких сведений об этой интимной стороне его жизни не сохранилось. Его романы были «анекдотами» и не оставили никакого следа на его жизненной судьбе. Потребность в любви, стремление к личному

счастью были в этом человеке задавлены безмерным научным любопытством, страстью к новым опытам, погоней за философскими обобщениями. Отзывчивый к чужой нужде, мягкий, снисходительный к слабостям других, почти всегда переоценивающий своих друзей и ошибающийся в них (вспомним хотя бы историю с Редерном), — он смотрел на весь мир, и на себя в том числе, как на огромную экспериментальную лабораторию, где люди — только объект исследования. Естественно, что глубокому личному увлечению там не было и не могло быть места.

Нищета и творчество

После неудачного сватовства СенСимон едет в Швейцарию и пишет там свой первый труд — «Письма женевского обывателя» (1803 г.). Тема этого первого произведения была подсказана общим состоянием тогдашней Европы.

Французская революция кончилась. «Гражданин первый консул», раздавив и якобинцев, и сторонников бурбонской монархии, безраздельно властвовал над Францией и военными победами прокладывал путь к императорской короне. Вся Европа с замиранием сердца следила за этой головокружительной карьерой.

Где и когда остановится «свирепый корсиканец», стирающий, как губкой, границы государств? Какой строй принесут с собой его полки? Да и насколько прочен этот новый порядок, наскоро состряпанный его военными и штатскими помощниками? Не проснется ли снова тысячеглавая «гидра» революции, сегодня усталая и приниженная, а завтра, может быть, яростная и торжествующая?

Эти мысли не дают покоя ни правым, ни левым, — ни тем, кто верит в «священные права законного короля», ни тем, кто клянется «великими принципами 1789 года». Вдумчивым людям из обоих лагерей совершенно ясно, что солдатский сапог может временно задавить революцию, но не может уничтожить ее движущих сил. Основного вопроса о прочном государственном правопорядке военная диктатура не решает, а только отодвигает его в будущее, притом не очень отдаленное. По-настоящему его решит только тот, кто поймет законы истории и будет действовать соответственно с ними.

Поискам этих законов посвящены все усилия мыслителей этой эпохи — начиная с Шатобриана и Жозефа де Местра^[25] и кончая Гегелем. Естественно, что каждый из них дает ответ, вытекающий из его классового положения и классовых пристрастий, и «законы истории» неизменно приводят туда, куда философам хочется, чтобы они привели.

Что движет человечеством? — Промысел божий, находящий свое выражение в католическом христианстве, — отвечает Шатобриан, аристократ и монархист. — Католичество порасшаталось, «христианство повсюду падает», и отсюда — смута и революции; обновите христианство, верните народу его религию, а аристократии ее привилегии, — и революции исчезнут сами собой.

В чем основа всех конституций? — В «неписанной конституции», в общем складе народного характера, — отвечает Жозеф де Местр, тоже аристократ, тоже монархист, но гораздо более тонкий мыслитель. — Изучите историю нации, приспособьте к ее характеру, данному самим богом, политические учреждения и общественный строй, отрекитесь от рассудочных теорий, возьмите себе в руководители обновленный католицизм — и мир и спокойствие государств будут обеспечены.

Ищет разрешения исторической загадки и мадам Сталь Но она только указывает на ее трудности и все свои надежды возлагает на «новую философию», которую должны выработать преемники французских энциклопедистов.

В 1803 году все эти мысли, порожденные страшной исторической встряской, еще не отлились в законченные теории. Шатобриан только делится своими тревогами и догадками с корреспондентами; Жозеф Де Местр, эмигрант, только обдумывает свой «Опыт о принципах человеческих конституций», Гегель еще не написал своей «Феноменологии духа» и не успел окончательно отделаться от чар великой революции. «Саморазвивающийся дух», творящий по его мнению историю еще не решил, что будет его конечной станцией — «декларация прав человека и гражданина» или королевско-прусский шлагбаум. Но вопрос о законах истории об основных принципах человеческого общежития поставлен ребром. Он носится в воздухе и, разумеется, не может не всколыхнуть и Сен Симона.

СенСимон, хотя и потомок Карла Великого, не может смотреть на вещи глазами Шатобриана или де Местра. Выброшенный из рядов аристократии, он усвоил себе демократические привычки и взгляды и хранит верность основным идеям энциклопедистов. Разум для него — верховный судья во всех вопросах жизни, а опытная наука — единственный надежный гид по лабиринтам истории. Ей, и только ей, хочет он вверить свою мысль.

«Письма женевого обывателя» — первый плод этих философско-исторических исканий — расплывчаты, недоговорены, но уже намечают те вехи, по которым направится развитие его теорий. Главные их мысли можно свести к немногим положениям.

1. Несмотря на внешнее умиротворение, революция в Европе еще продолжается. «В Европе деятельность правительств не встречает в настоящее время помех со стороны оппозиции управляемых; но, судя по настроениям в Англии, Германии, Италии, легко предвидеть, что это спокойствие не продлится долго, если своевременно не будут приняты

меры предосторожности. Ибо, господа, не следует скрывать от вас, что кризис, испытываемый человеческим духом, проявляется у всех просвещенных народов и что симптомы, обнаружившиеся во Франции в обстановке страшного взрыва, внимательный наблюдатель подметит у англичан и даже у немцев».

2. Кризис этот объясняется тем, что духовная власть в лице церкви, управлявшая до сих пор душами людей, отстала от хода развития и утратила право на руководство человечеством. Она должна отказаться от своих былых притязаний и передать руководство ученым. «Рим должен отказаться от претензии быть центром всемирной церкви; папа, кардиналы, епископы и священники должны перестать говорить от имени бога, ибо у них меньше знаний, чем у того стада, которое они ведут. Во всем том, что касается духовной власти над обществом, можно прислушиваться только к голосу ученых; религия — человеческое изобретение, политический институт, который стремится к всеобщей организации человечества... Мораль тоже имеет свои положительные законы, которые могут быть доказаны научным образом. Нужно только хорошо организовать ученых и художников, чтобы учредить совершенную духовную власть».

3. Такой организацией явится совет ученых, выбираемых всеобщим голосованием и получающих средства к жизни за счет добровольных взносов населения. Промышленностью всего мира и отдельных стран должны руководить собственники, избираемые таким же путем. «Я полагаю, что все классы общества извлекли бы пользу из подобной организации; духовная власть находилась бы в руках ученых; светская власть — в руках собственников; право избрания людей, являющихся великими вождями человечества принадлежало бы всем. Вознаграждением же для управляющих служило бы то уважение, которым они пользуются».

4. В обществе, организованном таким образом, не будет места бездельникам. «Все люди будут работать. Они будут смотреть друг на друга как на работников связанных со своей мастерской... На всех будет возложена обязанность давать своим личным силам направление, полезное для человечества».

На свои «Женевские письма» и сам СенСимон смотрел только как на предварительную работу намечающую общий подход к общественным проблемам, но не дающую никаких конкретных решений. Поэтому, напечатав их, он не выпустил книгу в продажу, а лишь разослал несколько десятков экземпляров своим знакомым из научного мира.

Из Швейцарии СенСимон едет в Германию, чтобы познакомиться с положением науки в этой стране. В курс немецких научных интересов Сен-

Симона вводит его приятель, некто Эльснер, — широко образованный человек, следящий за всеми течениями немецкой философской мысли. Эльснер, очевидно, сообщал ему о Канте^[26], Фихте^[27], Шеллинге^[28], Гегеле и дал ему представление о той идеалистической школе, которая в то время парила в немецких университетах. Естественно что СенСимон, веривший только в опытные науки, не мог увлечься этим направлением и уехал из Германии разочарованный. У немецких диалектиков он не рассмотрел самого главного — их метода и отверг все их построения, как ненужную метафизическую игру. «Из этой поездки я вынес убеждение, что в этой стране общественная наука находится еще на детской стадии, ибо там она основана на мистических принципах. Но вскоре она должна там далеко шагнуть вперед, ибо великая германская нация обнаруживает страстный интерес к науке».

Когда СенСимон возвратился из Германии во Францию (в 1805 г.), вместо республики он застал империю, вместо первого консула — императора французов. Новый режим крепко спеленал смертельно усталую страну. На улицах не слышно уже ни марсельезы, ни карманьолы, ни злободневных политических куплетов: эту музыку улицы заменили пушечные салюты Дворца Инвалидов, чуть не ежедневно извещающие население о новых победах. Число газет сократили до шестнадцати и подчинили уцелевшие строжайшей цензуре; за напечатание памфлета или листка без полицейского разрешения владельцу типографии грозит пожизненная ссылка. Плохо живется общественным наукам в этой стране, — еще хуже, пожалуй, чем по ту сторону Рейна...

Но среди этого засилья военщины и всеобщего безразличия к общественным вопросам демократ СенСимон подмечает одно явление, которое заставляет его если не примириться с империей, то по крайней мере поверить в возможность лучшего будущего. Наполеон окружил себя учеными. Он запросто бывает у Лапласа; к нему вхожи и химик Бертолле, и математики Монж и Пуассон, — его бывшие спутники по египетской кампании. Он всячески выказывает свое благоволение к Институту (французской академии наук), где собрались лучшие представители французской научной мысли. Разве не естественно предположить, что эти блестящие умы постепенно подчинят императора своему влиянию и с его помощью учредят то царство ученых и художников, которое одно лишь способно вывести истстрадавшееся человечество на правильную дорогу?

Как раз теперь-то и надо действовать в направлении, указанном «Женевскими письмами». Надо писать и писать... Но чем существовать? На путешествие в Германию истрачены последние крохи. Носильное

платье, да несколько уцелевших безделушек — вот все имущество Сен-Симона.

Есть еще один исход, который как будто напрашивается сам собой. Живет и благоденствует банкир Периго, с помощью которого Сен-Симон вел десять лет тому назад свои спекулятивные операции. Уцелели и разжились и другие дельцы, по опыту знающие коммерческие таланты Сен-Симона. Почему не предложить им какой-нибудь смелый финансовый план и не возобновить при их поддержке поиски счастья и денег? Но этот исход, столь естественный для всякого другого, для Сен-Симона невозможен. Он изжил в себе спекулянта, и старые пути для него теперь заказаны. В нем проснулся проповедник, философ, реформатор. Эта новая роль, как бы подытоживающая и осмысливающая все его прошлое, захватила его целиком и не допускает соперников. Для него, столь щедро открывавшего кошелек своим друзьям, легче прибегнуть к их денежной помощи, чем снова приниматься за коммерческие аферы.

Но друзья, которых он дарил субсидиями и кормил обедами, не интересуются его теориями и упорно не замечают его нищеты. Монж и Пуассон, обласканные императором, забыли, что в свое время они были еще более обласканы Сен-Симоном. И сколько других, когда-то близких, проходят мимо обтрепанного и голодного мечтателя, едва достаивая его кивком головы... Больше всех может сделать, конечно, граф Сегюр, которого в эпоху террора Сен-Симон укрывал в своем доме, а впоследствии так часто принимал в своем салоне. Сегюр ведь сейчас в милости: он церемониймейстер и постоянный спутник императора. Сен-Симон пишет ему письмо и получает ответ только через шесть месяцев. Как и чем он жил эти месяцы, он не говорит, а рассказывает только о результатах своей просьбы, — рассказывает спокойно, никого не обвиняя, никем не возмущаясь:

«Он (Сегюр) сообщил мне, что он достал для меня место в ломбарде. Это была должность писца; я получал тысячу франков в год за девятичасовой рабочий день. На этой должности я состоял шесть месяцев; свою собственную работу я делал по ночам; я кашлял кровью; мое здоровье было в самом плачевном состоянии, когда случайно я встретился с единственным человеком, которого я мог назвать своим другом.

Я встретил Диара, который служил у меня, с 1790 по 1797 год; я расстался с ним только после ссоры с графом Редерном. Диар сказал мне: «Место, которое вы занимаете, недостойно ни вашего имени, ни ваших способностей. Я прошу вас переехать ко мне, вы можете располагать всем, что мне принадлежит, вы будете работать при наиболее удобных для вас

условиях и вы заставите людей ценить вас по справедливости». Я принял предложение этого благородного человека, и он давал мне достаточные средства для всего того, что было мне необходимо, вплоть до значительных сумм на печатание моего труда».

Труд, о котором идет здесь речь, — «Введение в научные работы XIX века». В этом сочинении СенСимон продолжает развивать мысли, высказанные в «Женевских письмах», и пытается яснее определить метод, при помощи которого следует устанавливать законы общественного развития. «Социальные реакции нужно рассматривать так же, как физиологические феномены», т. е. изучать их на основании непосредственных наблюдений. Это — тот самый метод, который он всегда применял к самому себе.

«Введение» СенСимон опять рассылает отдельным лицам, надеясь побудить их этим к разработке социальной философии в указанном им направлении. После «Введения» следуют «Письма в бюро долгот» (отделение географического общества), посвященные той же теме.

В этот период на первом плане стоят для него социальные слои, являющиеся носителями духовной культуры — ученые, писатели и художники. Сен-Симону, как воспитаннику энциклопедистов, все еще кажется, что миром управляют идеи и что замена плохих идей религии хорошими идеями науки неизбежно должна привести человечество ко всеобщему благоденствию. Огромное значение экономических процессов для него ясно, но он еще не решается признать их основой социальной жизни. «Промышленность» и «промышленники» стоят где-то в стороне: это могучая и творческая стихия, но не направляющее начало, не властелин истории. Определяющее влияние экономического фактора он заметит позднее — тогда, когда сама экономическая обстановка страны подскажет ему соответствующие выводы.

В этот-то критический период его научной карьеры, когда подготовительные работы вот-вот должны увенчаться последним открытием и разрозненные идеи сложиться в систему, — умирает его «единственный друг» Диар (в 1810 году). Это — страшный удар. Средств нет никаких, и нищета опять стучится в дверь. Спасти может только Редерн. Хотя переписка с Редерном, которую СенСимон затеял в 1807 году, не привела ни к чему кроме оскорбительных взаимобвинений, он решает опять обратиться к своему бывшему другу. Может быть на этот раз благородство возьмет верх над скарелностью!

Безнадежная затея, — еще более безнадежная, чем расчеты на Сегюра! В 1811 году граф Редерн, перешедший во французское подданство, живет в

превосходном поместье Флер дель Орн, владеет обширными имениями и изрядным капиталом наличными и занят планами новых спекуляций. Время ли тут думать о всяких попрошайках? А сверх того, граф Редерн принадлежит к мистическому братству иллюминатов^[29] и пребывает в блаженном убеждении, что им водителем является сам господь бог. Скупость — прирожденное свойство его природы — вероятно, кажется ему даром духа святого. Насколько этот дар полезен для него, — показывают цифры его доходов, насколько он тяжок для окружающих — свидетельствуют жалобы его жены и ближайших родственников.

К благородству этого-то человека и хочет теперь апеллировать СенСимон. Он едет в Алансон, неподалеку от замка Флер дель Орн, и начинает бомбардировать Редерна посланиями. Отчаяние и безнадежность сквозят в каждой строке этих излияний, не без иронии названных впоследствии их авторами «сентиментальными письмами». Сентиментальности тут в сущности мало, но зато довольно много наивной хитрости, к которой СенСимон не стеснялся прибегать в трудные минуты жизни (и притом — всегда без успеха). Он хочет уверить себя, что Редерн — высокий идеалист, хочет сыграть на мистических струнах редерновского сердца и пишет таким стилем, словно и сам он принадлежит к ордену иллюминатов.

«Начнется прекрасный философский труд, когда СенСимон и Редерн примирятся. Этот труд будет заключаться в том, чтобы обобщить отношения, существовавшие между двумя философами, превратить эти наблюдения в принципы и вывести из этих принципов теорию». Затем оба друга создадут «Историю человеческого разума в его прошлом и будущем». «Не могу выразить вам, сколь счастливым я себя почитаю, когда я задумываю образование единого морального существа, составленного из вашей и моей души, слившихся настолько, что они представляют однородное целое».

Дон Кихот^[30], узревший в грязной трактирной служанке обольстительную Дульцинею^[31], мечтатель, готовый на любое унижение ради своей идеи, бедняк, брошенный и забытый всеми, — вот что проглядывает за этими напыщенными тирадами. Но Редерна не проймешь ни словами, ни человеческими страданиями. При первом же взгляде на сенсимоновский почерк он опасливо ощупал свой бумажник и решительно сказал себе: «Ни одного слова и ни одного су, брат Редерн! Будь тверд в искушении!»

СенСимон ждет — и пишет второе письмо. Тон его сразу меняется. Он

не говорит больше о слиянии душ, понимая, что эта ставка бита. Он дает только понять, что требования его очень скромны и не выйдут за пределы необходимого. «Я не спал эту ночь, но отчаяние не овладело мною. Хлеб, необходимые книги, комната, — вот все, что я требую... Вот уже три ночи, как я не смыкаю глаз и все время повторяю: что станет со мной, что станет со мной!»

До этого Редерну нет никакого дела. Редерн молчит.

От просьб СенСимон переходит к атаке. Он требует третейского суда. Он говорит, что отказ от третейского суда даст право назвать графа Редерна мошенником. Он грозит издать в городе Орне памфлет, где будет вскрыта нечестная игра Редерна при разделе имущества.

«Мошенник! — презрительно повторяет про себя Редерн. — Нашел чем испугать! Еще и не такими словами называли меня заблудшие братья!» Но скандал все-таки нужно замять. И Редерн посылает Сен-Симону маленькую сумму, чтобы временно заткнуть эту голодную глотку, а вслед за тем пишет орнскому префекту письмо, указывая, что памфлет, замышляемый сумасшедшим Сен-Симоном, необходимо запретить в интересах общественного спокойствия.

Когда СенСимон пытается прибегнуть к этому последнему средству, владелец орнской типографии решительно отказывается печатать рукопись. Больной, нравственно разбитый, без гроша в кармане, СенСимон едет на свое старое пепелище, в город Перонн (осенью 1812 года). Здесь он заболевает сильнейшей лихорадкой и едва не умирает. За лихорадкой следует подавленное состояние, близкое к сумасшествию. «Я не мог связать двух слов, — пишет он в письме к сестре Аделаиде, — и вероятно совсем сошел бы с ума, если бы обо мне не заботился умный и опытный врач и если бы мадам Фольвиль и гг. Кутт и Даникур не утешали меня». А будущее развертывает все те же невеселые перспективы: Париж, нетопленная комната, одиночество, безнадежность, нищета...

Когда СенСимон выздоровел и вернулся в Париж, судьба послала ему маленький подарок. Нотариус Кутт, бывший его сотрудник по земельным спекуляциям, сначала приютил его у себя, а потом, по поручению брата Сен-Симона, нанял ему небольшую квартиру и вручил пенсию, ассигнованную семьей. Но пенсия эта невелика — ее не хватает на жизнь. Чтобы кое-как существовать, приходится продавать последние вещи, да и то исподтишка, чтобы не узнали кредиторы-лавочники. Тем не менее ни голод, ни безденежье не в силах задавить творческую энергию. СенСимон пишет два небольших сочинения — «Записку о науке о человеке» и «Записку о всемирном тяготении» и в рукописных копиях рассылает их

видным ученым. К рукописям приложено следующее письмо:

«Будьте моим спасителем, я умираю от голода. Мое положение лишает меня возможности изложить мои идеи в обработанном виде, но значение моего открытия не зависит от способа изложения, который навязывают мне обстоятельства...

Занятый исключительно мыслями об общем благе, я пренебрегал моими личными делами и очутился вот в каком положении. Вот уже пятнадцать дней, как я питаюсь только хлебом и водой, работаю без освещения и продаю все свои костюмы, чтобы достать денег для переписки моих работ. Страсть к науке и общественному благу, желание изыскать средства, чтобы возможно более мягкими средствами устранить страшный кризис, который испытывает все человеческое общество — вот что довело меня до этой нищеты. Поэтому я, не краснея, сознаюсь в своем бедственном состоянии и прошу оказать мне помощь, которая дала бы мне возможность продолжать мое дело».

Комбасерес, министр Наполеона, советует Сен-Симону обратиться непосредственно к императору. Шансов на успех мало: Наполеон, разбитый, только что вернулся из русского похода и поглощен приготовлениями к борьбе с союзниками. До отвлеченных теорий и мировых реформ ему сейчас очень мало дела. Чтобы обратить его внимание на свои труды, СенСимон прибегает к маленькой хитрости. Предназначенную для Наполеона брошюру он озаглавливает; «Способ заставить англичан уважать независимость национальных флагов» и посвящает ее императору. Расчет наполовину удался. Император заинтересован. Что тут такое — может быть конструкция нового дальнобойного орудия или чертеж необыкновенного корабля, или оригинальный стратегический план? Все пригодится для борьбы с Англией, самым страшным его противником. Но дело, оказывается, совсем не в этом, Дело в том, что нужно призвать к управлению Францией «духовную власть», избранных населением ученых; правление ученых приведет всю страну в такое цветущее состояние, что Англия будет вынуждена ввести и у себя такой же режим; а когда она введет его, ученые не преминут гарантировать на веки вечные независимость отдельных наций. Император разочарован, изумлен, рассержен и ничего не хочет больше слышать о сочинителе.

А союзные армии придвигаются все ближе и ближе. Вот уж они кольцом окружают Париж. Еще немного, и император капитулирует и уезжает в изгнание на остров Эльбу.

Плоды осени

«Философ — плод осени, скорее даже зимы», — говорил СенСимон. В 1813 году осенний плод созрел, и СенСимон работает с удесятеренной энергией. Материальная обстановка попрежнему тяжела: пенсия брата да случайные субсидии друзей — единственные источники его существования. Но лишения не отклоняют его от заветной цели. Он думает лишь об одном — о разработке своей системы, о последователях, об учениках. Разочаровавшись в цеховых ученых, он хочет теперь обратиться к молодому поколению, более отзывчивому к новым идеям. Он переезжает на новую квартиру около политехнической школы (новые этапы творчества всегда знаменуются у Сен-Симона переменой местожительства), заводит связи с профессорами и студентами и постепенно становится центром небольшого кружка, к которому вскоре присоединяется крупнейшая научная сила — историк Огюстен Тьерри, в это время только что начинающий свою карьеру. Тьерри подпадает под обаяние учителя и становится его ближайшим сотрудником и другом. «Приемный сын Сен-Симона» — так именует он себя в своих печатных произведениях этого периода.



Клод Анри СенСимон. Гравюра неизвестного художника (Музей

ИМЭЛ)

Основы сен-симоновской социальной философии уже заложены, но объединить их в стройную систему еще не удастся. Слишком тревожна политическая обстановка, слишком велики злободневные проблемы, чтобы можно было замкнуться в кабинете и посвятить все силы общей теории.

Роль «промышленности» и «промышленников» в общественной жизни, взаимоотношения их с группами, представляющими науку и искусство, организация государственной власти, — все эти вопросы только намечены, но не получили еще ясного ответа. А можно ли целиком углубиться в них, когда каждый день приносит Франции новую катастрофу, ставит новую политическую задачу? Разгром «великой армии», борьба с европейской коалицией, падение Наполеона, восстановление Бурбонов, грызня великих держав за новые территории, — все эти события захватывают Сен-Симона. Но он подходит к ним, не как злободневный публицист, а как дальновидный мыслитель. В конфликтах отдельных наций он видит проявление общего мирового кризиса, для преодоления которого обычные средства недостаточны. Мировую войну, в которую вовлечены все державы континента, можно и должно ликвидировать не частичными соглашениями, а учреждением единой мировой организации, единого мирового правительства. Эта мысль и лежит в основе его книги «Реорганизация европейского общества», которую он пишет вместе с Огюстеном Тьерри и выпускает в свет в декабре 1814 года.

Идеи Бернарден де Сен-Пьера о «вечном мире» и «союзе наций» применены здесь к обстановке 1814 года. Для Сен-Симона ясно, что Венский конгресс, где судьбы народов решаются самодержцами и придворными дипломатами, не в состоянии не только воплотить эти идеи в жизнь, но и поставить их на обсуждение. Дело решится не дипломатическими нотами, а, как мы выразились бы теперь, реальным соотношением сил. Судьба Европы зависит в сущности от двух держав, обладающих наивысшим уровнем культуры, наибольшим политическим развитием, наиболее могучей армией и флотом, — Франции и Англии. Если соперничество между ними будет продолжаться, над Европой будет вечно тяготеть угроза войн и внутренних революций. Наоборот, их объединение откроет эпоху мира и благополучия.

Объединение это должно быть не только союзом но и слиянием обоих государств, которое выразится в учреждении общего англо-французского парламента. К этой новой двуединой державе вынуждены будут присоединиться и Германия, и другие, более отсталые, страны континента. Естественно, что этому объединению должна будет сопутствовать

политическая реформа, вводящая во всех странах Европы парламентарный строй, ибо совместная деятельность государств возможна только в том случае, если политический строй их одинаков. Создание этого федеративного общеевропейского государства, с одной стороны, устранил различие политических систем, столь сильно затрудняющее взаимоотношения между нациями, а с другой — освободит народы от произвола монархов. Народы будут сами распоряжаться своей судьбой и навсегда положат конец войнам.

Что будет, если никакой реорганизации не последует и дело ограничится сделками между отдельными государствами? — Будет новый переворот, — отвечает СенСимон. Предвестия его и сейчас уже налицо. Политическое всевластие возвратившейся с Бурбонами старой знати, пренебрежение к интересам промышленности, налоговый гнет — все это возбуждает во Франции всеобщее недовольство и создает почву для новой революции. А революция во Франции неизбежно вызовет потрясения и в прочих государствах Европы.

Возродить мир может только реорганизация Европы. «Воображение поэтов, — пишет СенСимон в заключение, — поместило золотой век в колыбели человеческой расы, в обстановке невежества и грубости; скорее надо было бы поместить там век железный. Золотой век человечества не позади нас, а впереди, и заключается он в усовершенствовании общественного порядка; наши отцы его не видели, наши дети когда-нибудь к нему придут. Наша обязанность — проложить путь к нему».

Работа Сен-Симона имела большой успех и вышла вторым изданием. Автор оказался хорошим пророком: Наполеон, прекрасно осведомленный о настроении населения, тайком покинул остров Эльбу и 1 марта 1915 года высадился во Франции. Стране грозит новый переворот. СенСимон не склонен его приветствовать. Он страшится политического гнета и возвращения к власти военщины и откликается на это событие брошюрой, направленной против «вторжения Наполеона Бонапарта на французскую территорию». Однако вскоре после прибытия императора в Париж он примиряется с императором. Наполеон приглашает в сотрудники друзей Сен-Симона — либерала Бенжамена Констана, Карно, «организатора революционных побед», и многих других деятелей революционной эпохи и делает вид, что хочет опереться на демократию. СенСимон принимает всерьез этот новый курс и начинает опять тешить себя своей старой мечтой, уже однажды столь жестоко разбитой, — мечтой о Наполеон-реформаторе. Плодом этой быстрой перемены политических симпатий является с одной стороны назначение Сен-Симона на должность

библиотекаря Арсенала, а с другой — появление брошюры «О мерах против коалиции 1815 г.», где СенСимон снова повторяет свою идею союза и государственного объединения Англии и Франции.

Империя просуществовала только сто дней и пала. Наполеона ссылают на остров св. Елены, а Сен-Симона удаляют из библиотеки Арсенала. Но на этот раз потеря места не влечет за собой катастрофы: его имя приобрело известность, друзья оказывают ему материальную помощь, в его маленькой квартирке собираются выдающиеся политические и литературные деятели. Он может продолжать свою пропаганду и перейти к дальнейшей разработке своих теорий: во Франции, да и во всей Европе наступило внешнее успокоение, и политические катастрофы уже не отрывают его от теоретических работ.

Вглядываясь в окружающую обстановку, СенСимон подмечает в ней явления, которые раньше заслонялись от него политическими событиями и значение которых он начинает постигать только теперь. Мало-помалу все яснее и яснее выступают последствия экономического переворота, пережитого Францией в эпоху революции и империи. Огромные золотые запасы, вывезенные Наполеоном и его маршалами из Италии и других стран, непрерывный и все более и более возрастающий спрос на товары, связанные с военными нуждами, система континентальной блокады, временно вытеснившая Англию с европейских рынков и открывшая широкое поле деятельности французской промышленности, — все это способствовало развитию национальной индустрии и вызывало большие сдвиги в экономике страны. Совершенно преобразилась шерстяная промышленность, заменившая ручной труд механическим. Значительно шагнула вперед металлургия. Механизация стала охватывать шелковую, шерстяную, полотняную промышленность и даже сельское хозяйство. В земледельческих районах начали успешно прививаться новые культуры (культура сахарной свеклы). Все это естественно вызвало спрос на квалифицированный технический персонал.

Правительство Наполеона учитывало эти процессы. В последний период империи крупные промышленники и финансисты были любимцами трона и оказывали растущее влияние на общую политику. Правительство обращало большое внимание на техническое образование и принимало целый ряд мер для внедрения в промышленность новых машин и новых производственных процессов. Открывались высшие технические школы, устраивались выставки, разрабатывались мероприятия по промышленному кредиту, фабрикантам и заводчикам рассылались сообщения о новых изобретениях. Индустриальная буржуазия, меняя методы производства, в

то же время энергично пробиралась к политической власти. Реорганизация производства приводила к двум чрезвычайно важным последствиям: к усилению связи между наукой и промышленностью и к образованию нового социального слоя — многочисленной группы технических организаторов.

В предреволюционную эпоху наука почти не была связана с мастерской. Производственные процессы были настолько просты, машины настолько несложны, что владелец предприятия и его мастера могли входить во все детали работы и не нуждались в помощи научных специалистов. Новые машины изобретались в большинстве случаев людьми, не получившими научного образования, а иногда даже совершенно чуждыми промышленности (Аркрайт). Отыскание новых производственных процессов было предоставлено случаю. Лаборатории были примитивны и служили не для разрешения конкретных практических задач, а для выяснения основных физических и химических законов. Естественно, что и люди науки, занимавшиеся ею между делом, как любители (разительнейший пример — Лавуазье, работавший над химическими проблемами в свободное от финансовых операций время), считали себя жрецами высшего знания, аристократами ума и резко обособлялись от представителей фабрично-заводского мира. Такой же взгляд на них усвоил себе в первое время своей литературной деятельности и Сен-Симон, предлагавший передать им «духовную власть» над вселенной.

Механизация и техническое усложнение производства резко изменили это положение вещей: мастерская попала в зависимость от науки, а наука пошла на службу к мастерской. Соединительным звеном между «высшим знанием» и промышленностью явились высшие технические школы, воспитанники которых вносили в предприятия вместо рутины — научный расчет, вместо глазомера — математические вычисления, вместо случайных попыток — лабораторные исследования. В 1815 году эти новые люди уже представляли собою внушительную силу, и самое существование их заставляло пересмотреть прежние взгляды на взаимоотношения между наукой и промышленностью. Кто кого собственно ведет — наука промышленность или промышленность науку? Кому следует вверить руководство промышленным развитием — ученым или «индустриалам»?

Только теперь эти вопросы ставятся перед Сен-Симоном во всей их остроте и глубине. Они подсказаны ему не только наблюдениями над жизнью, но и окружающими его людьми — банкиром Лафиттом Периго, крупнейшим финансовым деятелем, фабрикантами Терно, Ришаром-Ленуаром, Ардуэном, которые связаны с ним тесной личной дружбой. Все

это — люди большого масштаба, распространяющие свою деятельность не только на Францию, но и на европейский континент (Терно, например, держит в своих руках все шерстяные рынки Европы). Кроме того, это — люди, прекрасно сознающие свое экономическое значение и желающие властвовать в стране. Они не могут примириться с засильем старой знати, которая мечтает о восстановлении наследственных привилегий и не желает признавать даже куцую конституцию, пожалованную Людовиком XVIII своим «верноподданным». Их беседы, их экономические планы, их политические стремления все полнее и полнее раскрывают смысл той «индустрии», которая вот уже сколько лет, как магнит, влечет к себе Сен-Симона. Эти люди и эта промышленность не удовлетворятся вторым местом. Они должны повелевать — в союзе с наукой и при помощи науки.

В мировоззрении Сен-Симона наступает новый сдвиг. Если раньше для него на первом плане стояло производство идей, то теперь на первом плане стоит производство вещей. Наука не столько указывает пути, сколько облегчает осуществление проектов, подсказанных экономической действительностью. «Индустрия», понимаемая в самом широком смысле, — вот ведущая сила истории. Этот факт нужно признать и сделать из него все философские, политические и социальные выводы.

Эта новая ориентировка как нельзя более подходит его друзьям из промышленной буржуазии. Общая система Сен-Симона, вероятно, мало их интересует, но политические следствия, из нее вытекающие, им отнюдь не безразличны. В борьбе со старой аристократией теории философа, входящего в моду, — далеко не лишней козырь. Лафитт и его сотоварищи раскошеляются, дают Сен-Симону деньги, и в 1816 году начинает выходить журнал (или, вернее, сборник) «Индустриал», на заглавном листе которого в качестве девиза стоят слова: «Все через промышленность и все для промышленности».

В «Индустриале» сотрудничают Сен-Симон и его ученики. Издание продолжается два года и на четвертом выпуске (в 1818 г.) приостанавливается. Идеи о первенствующей роли «индустрии» в общественной жизни, о вреде наследственных привилегий, о союзе науки и практической экономики проводятся здесь широко и последовательно. На Сен-Симона смотрят, как на главу философско-политической школы. Число его последователей растет. Поэт Беранже посвящает ему стихотворение, где называет его «человеком, который переделывает общество», автор марсельезы, Руже де Лиль, пишет гимн «Индустриал», радикальный публицист Поль Луи Курье запасается идеями в его салоне. Когда в парках или на улице появляется его фигура в длинном дорожном плаще и

небрежном костюме, прохожие указывают на него друг другу и шепчут: «Смотрите, вон идет известный философ СенСимон!»

О Сен-Симоне этого периода сохранилось много рассказов, бросающих интересный свет на его характер, приемы творчества, отношение к людям. Его несложным домашним хозяйством ведает мадам Жюли Жюлиан, совмещающая функции экономки, секретаря и ближайшего друга. Работает он всю ночь напролет, ложится спать утром. После обеда садится в кресло и просит мадам Жюлиан: «Принесите мне какой-нибудь роман, только поглупее!» Сюжет и автор для него безразличны — достаточно и того, что роман на время отвлечет его от теорий и направит внимание на какие-нибудь занимательные стороны жизни.

Работать с ним нелегко. Пока он диктует, ему то и дело приходят на ум новые мысли, он отклоняется в сторону, возвращается к прежней теме и лишь с трудом облекает свои построения в связную и логически последовательную форму. Хорошо еще, что мадам Жюлиан никогда не доискивается смысла диктуемого и со святой простотой запечатлевает на бумаге каждое слово хозяина, не заботясь ни о предыдущем, ни о последующем, ни о точках, ни о запятых. По большей части СенСимон, прочтя написанное, комкает листок и молча бросает его в камин. Потом мадам Жюлиан опять пишет. Сен Симон опять комкает. Иной раз за два-три часа работы не выходит ничего. Кроме мадам Жюлиан есть и настоящие секретари — сперва Тьерри, потом Огюст Конт, и еще какой-то неизвестный, имя которого нигде не сохранилось. Они — не только секретари, но и сотрудники. С ними СенСимон обсуждает написанное и иногда так увлекается, что бросает работу и весь остаток вечера проводит в беседе. Во время своих ночных писаний СенСимон обходится без них, но иногда ему вдруг приходит в голову какое-нибудь особенно интересное теоретическое построение. Тогда он, не стесняясь временем, звонит в звонок, и заспанный секретарь является писать под диктовку.

Все имевшие с ним дело, рассказывают о его утонченных манерах («последний дворянин», «настоящий аристократ XVIII века»), сочетающихся с простым и сердечным отношением к окружающим. В этом, да еще, конечно, в самоотверженной преданности идее и заключается секрет того обаяния, которое влекло к нему самых различных людей, начиная с матерых дельцов и кончая молодыми профессорами и безусыми студентами.

В 1819 году СенСимон начинает издавать сначала журнал «Политик», а потом журнал «Организатор». В этом последнем и появляется его знаменитая «Парабола», которая вызывает судебное преследование и

привлекает к нему внимание широких кругов населения. В это время в палате депутатов, — самом реакционном из всех французских парламентов, прозванном в насмешку «небывалой палатой», — беснуются оголтелые аристократы, с пеной у рта требующие искоренения последних остатков демократизма. Им отвечают депутаты левой, ссылающиеся на гарантированные «хартией» права. СенСимон ставит вопрос иначе. Из сферы политическо-правовой он переносит его в хозяйственную плоскость и на живом примере показывает, насколько важны для нации «производительные» классы и насколько безразличны классы привилегированные, претендующие на верховную власть в государстве.

«Предположим, что Франция внезапно потеряет своих пятьдесят лучших физиков, пятьдесят лучших химиков, пятьдесят лучших физиологов, пятьдесят лучших поэтов, пятьдесят лучших математиков... Пятьдесят лучших механиков, пятьдесят лучших гражданских и военных инженеров, пятьдесят лучших архитекторов, пятьдесят лучших медиков... Пятьдесят лучших банкиров, двести лучших купцов, шестьсот лучших земледельцев, пятьдесят лучших металлургов, пятьдесят лучших фабрикантов оружия... Пятьдесят лучших каменщиков, пятьдесят лучших плотников, пятьдесят лучших столяров...

Франции понадобилось бы по крайней мере целое поколение, чтобы оправиться от этого несчастья... Перейдем к другому предположению. Допустим, что Франция сохранит всех гениальных людей в области наук, искусств и ремесл, но что она в один день потеряет брата короля, монсеньера герцога Ангулемского, монсеньера герцога Беррийского... Что она потеряет всех высших придворных сановников, всех государственных министров, всех маршалов, кардиналов, архиепископов, епископов... Это несчастье огорчит, конечно, французов, ибо у них доброе сердце, но эта потеря тридцати тысяч человек, считающихся наиболее важными людьми государства, причинит им неприятность только в сентиментальном смысле этого слова, ибо никакого политического вреда для государства отсюда не последует». Практические выводы отсюда предоставлялось делать самим читателям.

Прокуратура тоже сделала свой вывод: СенСимон призывает к истреблению всего королевского дома. За это неслыханное преступление он должен ответить перед судом. СенСимон не теряет времени: он публикует в «Организаторе» несколько писем к присяжным, где поясняет, что в «Параболе» речь идет совсем не о династии, а о привилегиях, привилегированных и их действительном значении для нации. Его задача — не призывать к убийству, а пояснять, что такое аристократы.

«Королевская власть должна порвать с обеими аристократиями (т. е. со старой знатью и со знатью, созданной Наполеоном), с которыми она так слепо вступила в союз. Она должна соединиться с народом (commune), чтобы навсегда уничтожить политическую власть каст и стать во главе цивилизации». Суд присяжных оправдал Сен-Симона.

Издание «Организатора» продолжалось и в 1820 году. СенСимон продолжает конкретизировать свои теории и разрабатывает план трехпалатного парламента, куда должны входить исключительно представители науки, искусства и промышленности, выбранные всеобщим (или приближающимся ко всеобщему) голосованием. Первая палата составляет проекты законов, вторая — рассматривает и утверждает их, третья — следит за их выполнением. Законы, касающиеся собственности, должны рассматриваться исключительно третьей палатой, которая изменяет их ко благу производства и производителей.

В 1821 и 1822 гг. СенСимон продолжает вести политическую борьбу и печатает открытые письма к королю, избирателям, земледельцам и промышленникам, где развивает свои основные положения. Затем эти письма он объединяет в книгу, издаваемую под заглавием «Об индустриальной системе». К этому же времени (1822 год) относится и брошюра, в которой СенСимон проводит сравнение между Бурбонами и Стюартами и предсказывает, что Бурбоны, подобно Стюартам, будут изгнаны из страны, если они не создадут новой политически-социальной системы, соответствующей уровню современного развития. В 1822 году СенСимон объезжает главные индустриальные центры Франции, чтобы лично познакомиться с положением промышленности. Он полон надежд и пишет дочери письма, проникнутые самым бодрым и жизнерадостным настроением. Но вдруг, на протяжении каких-нибудь трех-четырёх месяцев это состояние сменяется глубокой тоской, и философ решает покончить с собою.

Последние годы жизни

Что было причиной этого неожиданного решения? В материальном положении Сен-Симона произошло сравнительно мало перемен. Приятели, правда, перестали давать деньги на его литературные начинания, — но разве в первый раз пришлось ему столкнуться со скупостью и равнодушием людей, казавшихся близкими? Ученики не оправдали ожиданий: Тьерри ушел, вступив на самостоятельный путь, Конт тоже начал отдаляться и разрабатывать свои собственные теории, — но разве новые последователи — Базар, Олинд Родриг, Анфантен — не могут продолжить дело учителя? Личная жизнь текла ровно, близкие благодетельствовали, а сердечные драмы, если даже они и были, не могли переживаться слишком остро шестидесятилетним человеком, да еще таким, как СенСимон. Словом, судя по всему, никаких внешних поводов для самоубийства не существовало.

Причин следует искать во внутреннем состоянии философа.

А состояние это незавидно. Не забудем, что СенСимон — человек широкого размаха и практической складки. Ему недостаточно того, что о нем говорят в прессе и салонах, — он хочет видеть свои теории воплощенными в жизнь или по крайней мере быть уверенным в их скором осуществлении. А между тем ни к какому широкому общественному движению его проповедь не привела. Вместо многочисленной и влиятельной партии за ним стоит только горсточка учеников и последователей, да и из них лишь немногие охватывают его теории во всей их полноте и значении. Двадцать лет прошло со времени опубликования его первой работы, а мир попрежнему равнодушен и к его социальным учениям и к его политическим рецептам. По сравнению с этой основной и самой главной неудачей сущими пустяками, ничтожной мелочью кажутся те утешеньица, которые на склоне лет послала ему судьба: любящая дочь, безгранично преданная мадам Жюлиан, сравнительный комфорт, созданный для него стараниями Олинда Родрига и еще нескольких учеников и почитателей. И тяжким грузом лежат на плечах шестьдесят два года, предупреждая нового пророка, что никогда, никогда не увидит он землю Ханаанскую.

9 марта 1823 года Сен Симон под разными предлогами удаляет из квартиры всех домашних, садится за стол и пишет своему другу Терно следующее письмо:

«Милостивый государь, я убедился, что вы были правы, говоря мне, что потребуется много времени, прежде чем внимание публики обратится на работы, которые уже давно одни только и занимают меня. Поэтому я решил попрощаться с вами. Но мне нестерпимо больно, что я оставляю женщину (мадам Жюлиан), которая вместе со мною жила в ужасных условиях... Я прошу вас оказать ей всемерное покровительство».

Затем он заряжает пистолет семью крупными дробиными, назначает час, когда он должен покончить с собой, садится к письменному столу и кладет на него часы и пистолет. Перед смертью он хочет сохранить полное спокойствие духа и употребить остающееся время на обдумывание своих заветных теорий. Не людям, а идеям будут посвящены его последние мысли. Только идеям и больше ничему. Стрелка доходит до назначенного часа, и СенСимон спускает курок.

Неудача и здесь! Вместо мозга заряд попал в глаз... С вывалившимся глазом, истекая кровью, СенСимон идет к соседу-доктору, живущему на той же лестнице. Доктора нет дома. СенСимон возвращается в комнату и спокойно садится на кровать. Так, в спокойной позе мыслителя, и застали его Конт и доктор, явившиеся немного спустя.

— Объясните мне, доктор, — любознательно осведомился у вошедшего врача пациент с вытекшим глазом, — каким образом я, имея в мозгу семь дробинок, продолжаю мыслить?»

Не пускаясь в научные рассуждения, доктор осматривает рану и ищет дробинок. На полу их оказывается только шесть, следовательно, седьмая застряла в мозгу. Если это так, то значит не только дни, а и часы раненого сочтены. Доктор не скрывает от Сен-Симона безнадежности положения и поясняет, что к ночи у него начнется воспаление мозга, а к утру его, может быть, не станет.

— Ну что ж, — спокойно произносит СенСимон, обращаясь к Конту, — значит, надо употребить оставшееся время на разработку наших теорий.

Теоретическая беседа продолжается до тех пор, пока у раненого не начинаются нестерпимые боли, а затем и бред. Но утром нехватаящая дробиночка найдена в камине, — значит, мозг не поврежден. К вечеру СенСимону становится лучше, а через две недели он уже здоров. Друзья, вероятно устыдившись своей скаредности, которая чуть не стоила жизни философу, ассигнуют ему довольно крупную сумму на новые издания. От уныния и подавленности не осталось и следа. СенСимон опять полон творческой энергии, как будто стараясь усиленной работой искупить минутную слабость.

В декабре 1823 года выходит первый выпуск «Катехизиса

промышленности», а в марте 1824 года — второй. Это — наиболее продуманный труд Сен-Симона, в котором точно выясняется понятие «индустриала» и роль индустрии в общественной жизни. «Индустриал — это человек, который производит или предоставляет в распоряжение различных членов общества один или многие предметы, удовлетворяющие их нужды или их физические вкусы... Индустриалы образуют три больших класса — класс земледельцев, класс фабрикантов и класс купцов... Индустриальный класс должен занимать первое место; он — самый важный из всех, так как он может обойтись без всех остальных, а ни один другой класс не может обойтись без него, ибо он существует собственными силами, своими личными трудами. Прочие классы должны работать для него, так как они целиком от него зависят и получают от него средства существования; словом, так как все делается индустрией, то все должно делаться ради нее». Таким образом спор о первенстве между наукой и промышленностью разрешен — ученый должен уступить первое место индустриалу.

1824 год — год окончательного завершения сен-симоновских теорий и вместе с тем самый счастливый год, творческого периода его жизни. Над готовыми уже стенами своей системы он возводит наконец крышу — индустриальную социальную философию он увенчивает индустриальной религией. Эти последние его выводы изложены в книге «Новое христианство», вышедшей в апреле 1825 года.

Название обманчивое, порождающее неосновательную тревогу у одних и неосновательные надежды у других. Неужели этот скептик, дитя вольнодумного восемнадцатого века, возвратился к поверженным алтарям и свои беспокойные искания закончил возгласом: «Ты победил, Галилеянин!» На самом деле ничего подобного не произошло. В «Новом христианстве» нет ни обращения, ни превращения, — здесь есть только последовательное развитие идей, поглощавших философа с самого начала его деятельности.

Вера в бога, о которой идет здесь речь, есть вера в «первый толчок», в нераскрытый икс мироздания, сухая и скучная вера вольтерьянца, в которой сквозит не то уступка ходячему предрассудку, не то ирония над собственным незнанием. Иисус — не мистический победитель смерти, а проповедник моральных истин, которые только теперь, в 1825 году, удалось очистить от ненужных басен и вредных искажений. А христианство выражается в следующих словах, прямо вытекающих из «Катехизиса промышленности», «Все социальные учреждения должны иметь своей целью улучшение нравственного, умственного и физического положения

самого многочисленного и самого бедного класса».

Итак, жизненный труд завершен: больше Сен-Симону сказать нечего, ибо углубить и разработать его теории под силу лишь людям другого поколения, другого класса, других социальных симпатий. Отныне могут быть только повторения и перепевы старых мыслей. Судьба как будто торопится избавить философа от этого медленного и скучного угасания. На другой же день после появления в свет «Нового христианства» СенСимон опасно заболевает.

Болезнь длится семь недель. Философ постепенно слабеет, но ум его попрежнему ясен и попрежнему направлен к единственной цели, — к разработке и пропаганде его системы. За день или два до развязки его спрашивают, не хочет ли он повидаться с дочерью, самым близким ему существом. СенСимон приказывает не тревожить ее: последние минуты должны быть посвящены только его системе.

Медленно тянутся предсмертные часы. Вот уж и глаза потеряли блеск, и нос заострился, и в груди зловеще клокочут хрипы. А этот удивительный человек усилием воли преодолевает и боль, и слабость, и коснеющим языком говорит, говорит, говорит... Надо будет развить вот такое-то положение... Надо будет поторопиться с изданием таких-то сборников... Наконец, в ночь на 19 мая наступает агония, а утром 19 мая СенСимон умирает.

Так оборвалась эта жизнь, прямая, как линейка, и в то же время пересеченная оврагами, рывинами, колеями, беспокойная и тряская, как непроезжая проселочная дорога. Опыты над собой и над окружающими, опыты над мыслями и чувствами, опыты над жизнью и смертью, опыты над политикой, философией, индустрией. А под этим разнообразием переживаний и жизненных положений одна и та же задача, неотступно владеющая и сердцем, и умом: «улучшение нравственного, умственного и физического положения самого многочисленного и самого бедного класса».

Учение Сен-Симона

В биографии Сен-Симона мы указывали на ту социально-политическую обстановку, под воздействием которой слагались и развивались его теории. Помимо этой общей обстановки на его мировоззрении сказывалось, конечно, и влияние отдельных мыслителей, главным образом экономистов, — выступавших в этот период. Сен-Симон был хорошо знаком с произведениями политико-экономов А. Смита и Сэя, с теориями французских физиократов, с сочинениями английского философа Бентама, с историческими трудами Юма, с учениями неокатоликов — де Местра, Бональда, Шатобриана, с воззрениями «филантропов» вроде д'Аржансона и Ларошфуко. Наверное, не безызвестными для него остались теории Оуэна и его практические попытки по устройству образцовых мануфактур и «свободных ассоциаций».

В отдельных местах его трудов легко заметить повторение мыслей, высказанных тем или другим из этих писателей, между тем как некоторые его положения являются скрытой полемикой с их основными тезисами (например, его воззрения на христианство). Да и сам он неоднократно заявляет, что его цель — собрать воедино и уложить в рамки общей социальной теории те истины, которые уже установлены и разработаны рядом ученых. Выяснить идейное воздействие на него тех или иных мыслителей было бы поэтому довольно бесплодной задачей, ибо «воздействий» этих имеется почти ровно столько, сколько у него можно найти отдельных мыслей и положений.

Оригинальность его системы заключается не в ее элементах, а в способе их сочетания, в той исторической перспективе, в какой он располагает учения своих современников. Подобно тому, как поэт заставляет по-новому звучать старые слова, ставя их в известном порядке и подчиняя определенному ритму, точно так же и Сен-Симон придает новый смысл старым истинам, связывая их с определенными стадиями человеческой культуры. Каждое открытие, каждый вывод положительных знаний ценны для него постольку, поскольку они раскрывают тот или иной закон истории и дают возможность на основании прошлого набрасывать картину будущего. Выяснение исторической закономерности, а следовательно раскрытие сущности социального процесса, — вот в чем главный интерес его построений и его главная философская заслуга.

Историческая теория Сен-Симона, как и все, что он писал, полна недомолвок, туманностей, кажущихся и действительных противоречий. Это — не законченное и выдержанное в одном стиле здание, а беспорядочная громада, где глаз теряется в массе архитектурных деталей и лишь с трудом улавливает основные контуры. В ней нет даже того внешнего единства, которое придают каждой книге систематический подбор материала и связность изложения.

Все его мысли — это соображения по поводу какого-нибудь злободневного вопроса, высказываемые перед самой разнообразной аудиторией и имеющие в виду самые разнообразные практические цели. Письма его к королю, к присяжным, к промышленникам, к избирателям, к ученым, к земледельцам доводят читателя до отчаяния своими повторениями и отклонениями и нисколько не выигрывают в связности от того, что они объединены общим заглавием («Об индустриальной системе»). Его последние труды «Катехизис индустриалов» и «Новое христианство» страдают теми же недостатками, органически свойственными его характеру и методу мышления. И тем не менее в основе этих хаотических произведений лежит чрезвычайно плодотворное мировоззрение, указавшее дорогу не одному ученому и философу, а многие мысли, брошенные «вскользь» и «по поводу», могут послужить темой целого трактата.

Наша задача — изложить это мировоззрение, досказывая его недомолвки и устраняя его неясности, на основании общего духа сен-симоновской теории.

Историко-философское мировоззрение

История, — говорит Сен-Симон, — в сущности еще никем не писалась как следует. Историки Греции и Рима повествовали об отдельных героях, считая их единственными творцами тех или иных учреждений, единственными виновниками тех или иных событий. Государственные деятели разделяли это заблуждение. «Великая ошибка законодателей и философов древности заключалась именно в том, что они хотели подчинить ход истории своим собственным систематическим взглядам, между тем как на самом деле они должны были бы подчинить свои планы истории» («Организатор», т. IV, стр. 118^[32]). В ту же ошибку впали и деятели Французской революции, старавшиеся установить не такой режим, который больше всего соответствовал исторической действительности, а

такой, который ближе всего подходил к их собственным отвлеченным представлениям о совершенном государстве. «Когда они захотели пойти дальше, они начали разбирать вопрос о наилучшем из всех возможных правительствах и, руководимые старыми привычками, рассматривали его как вопрос метафизики и юриспруденции. Ибо теория прав человека, лежавшая в основе всех их общеполитических работ, есть не что иное, как применение высшей метафизики к высшей юриспруденции» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 83).

Представления эти совершенно не отвечают действительности. На самом деле не люди сознательно творят историю, а история управляет сознанием людей. «Ни в какую эпоху цивилизация в своем усовершенствовании не шла по пути, разработанному и заранее задуманному гением и принятому массой. Это невозможно по самой природе вещей, ибо высший закон прогресса человеческого духа все влечет за собой и надо всем господствует: люди являются для него не чем иным, как орудием. Хотя эта сила (сила прогресса. — Ст. В.) проистекает от нас, мы так же бессильны освободиться от ее влияния или подчинить себе ее действие, как изменить по своей воле первоначальный толчок, заставивший нашу планету вращаться вокруг солнца» («Организатор», т. IV, стр. 118–119).

Но чтобы понять закономерность исторического процесса, необходимы определенные условия: накопление большого фактического материала и умение разбираться в нем с помощью научного метода. Этих условий не было ни в эпоху классической древности, ни в последнюю четверть XVIII века: древние писатели не обладали достаточным запасом фактов, а мыслители XVIII века, располагавшие гораздо большими данными, не в состоянии были должным образом их обработать. Задача эта оказалась по силам лишь XIX веку, когда с одной стороны расширился кругозор ученых, а с другой — окончательно утвердились приемы опытного исследования.

Если эти приемы, основанные на наблюдении и здравом смысле, мы применим к изучению истории, мы прежде всего увидим, что смысл всякого человеческого общества заключается в поддержании существования входящих в него людей. А так как средства к существованию можно получить только двумя способами — или непосредственно от природы, путем использования ее сил, или от других людей, путем захвата имеющихся у них продуктов, — то и цели общества сводятся лишь к двум основным задачам. «Для нации, как и для индивида, существует только две цели деятельности, — или завоевание, или труд»

(«Об индустриальной системе», т. V, стр. 13). Каждая из этих целей предполагает особую свойственную ей систему учреждений и верований. «Существует и может существовать только две системы общественной организации, действительно отличных друг от друга — это система феодальная или военная и система индустриальная, а в духовной области — система верований и система положительных доказательств. Все существование человечества, сколь бы продолжительно оно ни было, делится между этими двумя общественными системами» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 12–13).

Смену этих двух систем и промежуточные стадии между ними СенСимон поясняет на примере двух цивилизаций — цивилизации древнего мира и цивилизации, сложившейся в средние века. Распад римской империи, гибель язычества и возникновение христианства изложены у него настолько обще, что суть его исторического метода почти ускользает от читателя. Поэтому мы не будем излагать его рассуждений на эту тему и прямо перейдем к его анализу средневекового общества, ясно вскрывающему главные мысли сен-симоновской философии истории.

Основной особенностью феодальной системы, которую усвоила себе Западная Европа в начале средних веков, являлось сочетание военного деспотизма и деспотизма церковного. Этот строй вполне соответствовал реальной обстановке того времени.

«Старая политическая система (я имею в виду ту, которая еще господствует в настоящее время и от которой мы хотим освободиться) возникла в эпоху средневековья. Ее образованию способствовали два элемента, весьма различные по своей природе: с самого своего возникновения и в течение всего своего существования, она была смешением системы теократической и системы феодальной. Сочетание физической силы (которой обладали главным образом вооруженные люди) с приемами, основанными на хитрости и обмане и изобретенными священниками, дало вождям духовенства и знати высшую власть и поработило им все остальное население.

Лучшей системы не могло установиться в эту эпоху; ибо с одной стороны все тогдашние знания были поверхностны и сбивчивы, а с другой стороны — в этом состоянии варварства единственным средством обогащения для великого народа являлось завоевание и потому предоставлять руководство делами каждого отдельного государства приходилось военным... Таким образом основной базой старой политической системы было с одной стороны невежество, а с другой — неопытность в области ремесел, которая делала народы неспособными к

производству богатств путем улучшения сырья и оставляла им только один способ обогащения — захват сырья, принадлежавшего другим народам» («Организатор», т. IV, стр. 38).

Итак, экономическая отсталость, низкий уровень развития производительных сил, — вот что толкало человечество к созданию феодальной системы. Естественно, что при таком строе, когда люди вынуждены были все время или нападать или защищаться, военное сословие было необходимейшим элементом общественной жизни. На его социальной полезности и зиждились его влияние и власть, ибо «всякое политическое учреждение черпает свои силы в тех услугах, которые оно оказывает большинству общества, а следовательно, наиболее бедному классу» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 167). Из этого военного сословия возникла наследственная знать, единственной профессией которой было военное дело.

В сфере духовной культуры духовенство играло такую же роль, какую играло военное сословие (знать) в сфере гражданской жизни. Духовенство, обладавшее гораздо большим образованием, чем какие бы то ни было другие сословия, было единственным носителем просвещения и цивилизации; с другой стороны, оно прививало населению более высокие моральные понятия, ибо христианская мораль, в противоположность языческой, не считалась с национальными и государственными делениями, проповедовала братство всех людей и таким образом способствовала установлению социальной связи между всеми народами Европы. Наконец, «духовенство оказывало важные услуги низшим классам общества, так как оно внушало богачам и сильным мира сего обязанности, возложенные на них богом и нравственностью» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 169). Таким образом и власть духовенства основывалась на том же, на чем покоилась власть военной аристократии — на пользе, приносимой им обществу, на его социальной необходимости.

Если в основе средневекового государства лежал принцип слепого подчинения вождю, то в основе средневековой религии и средневековой морали лежал принцип слепого подчинения богу и его служителям— священникам и папе.

Постепенно в недрах феодального общества и наряду с его учреждениями начинают развиваться элементы нового строя, которому суждено было заменить собою старый.

С одной стороны, развивается промышленность. Хотя по всем своим принципам она резко противоположна феодализму, ибо целью ее является не завоевание, а труд, — тем не менее феодальные власти вынуждены

мириться с нею, так как они получают от нее и средства к жизни, и предметы роскоши, и деньги, необходимые для ведения войн. В конце концов, со времени появления огнестрельного оружия — даже военное дело технически срастается с промышленностью: «военные силы попали в полную зависимость от промышленности, так что в настоящее время военные успехи обеспечены наиболее богатым и наиболее просвещенным народам» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 75).

С другой стороны, постепенно происходит освобождение населения от крепостной зависимости. «Индустриалы, бывшие первоначально рабами, сумели с помощью труда, терпения, экономии и изобретательности увеличить то незначительное имущество, которое их господа позволили им накопить. В конце концов военные, желая с большей легкостью обеспечить себе наслаждения, которые им доставляли новые продукты, создаваемые промышленниками, согласились предоставить им свободное распоряжение их личностью и продуктами их труда. Это освобождение дало возможность промышленности развиваться и с этого времени прогресс ее был непрерывен и все более и более значителен» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 73).

Третьим фактом величайшей важности было проникновение в Европу точных наук, насаждавшихся арабами. «Когда науки, основывавшиеся на наблюдении, были введены в Европе арабами, духовенство начало было заниматься ими, но скоро окончательно бросило их, и они перешли в руки совершенно особого класса, который с тех пор и образовал новый элемент общества. Благодаря огромному прогрессу наук, превосходство в просвещении, которым обладало духовенство и которое было действительной основой его духовного могущества, совершенно исчезло. По мере роста просвещения люди мало-помалу переставали слепо подчиняться теологическим верованиям. А политическое влияние этих верований и даже их моральное влияние были уничтожены в самом корне с того момента, когда за каждым индивидуумом было признано право обсуждать эти верования и принимать или отвергать их сообразно своему личному разумению» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 75–76).

Все эти элементы нового общества начали зарождаться уже с XI века. Они отличались настолько своеобразными особенностями, что даже в первые моменты их возникновения можно было бы предсказать весь ход их дальнейшего развития и ту социальную структуру, к которой они впоследствии приведут. «Если бы какой-нибудь гениальный человек, обладающий достаточной степенью просвещения, мог в эту эпоху наблюдать это положение вещей, он безошибочно предсказал бы великую,

происшедшую впоследствии, революцию, которая тогда только что зарождалась: он заметил бы, что оба элемента, только что сложившиеся (т. е. свободное индустриальное население и светская наука. — Ст. В.) неизбежно должны привести к низвержению обеих властей, сочетание которых составляло сущность действовавшей тогда системы. Равным образом он смог бы заранее предвидеть, что оба эти элемента, развиваясь, будут наносить все больший и больший ущерб обеим властям (существовавшим тогда. — Ст. В.) и что мало-помалу они создадут систему, которая окончательно заменит собою старую» («Организатор», т. IV, стр. 113).

Постепенно слагавшийся новый строй нашел свое идеологическое выражение в религиозной реформе, провозглашенной Лютером. Суть ее заключалась в том, что каждому человеку предоставлялось право исследовать христианское вероучение с точки зрения разума. С реформации и начинается освободительное движение, постепенно охватившее всю Европу. «Нападение Лютера и его собратьев, реформаторов — на папский авторитет фактически ниспровергло духовную власть как власть европейскую: в этом и заключалось его подлинное политическое значение. В то же время оно окончательно подорвало то влияние, которым еще пользовался теологический авторитет, ибо оно разрушило принцип слепой веры и заменило его правом на свободное исследование...» («Организатор», т. IV, стр. 89).

Лютеранство и родственные ему течения не были результатом одного только развития идей. Указывая на просвещение как на главную причину реформации, СенСимон останавливается на влиянии экономического фактора, которому он приписывает большую, но, правда, далеко не решающую роль. «Не стоит говорить о величайшем влиянии, которое прогресс точных наук оказал на реформу Лютера, ибо его в настоящее время никто не оспаривает. Его достаточно только отметить. Что касается до влияния на эту реформу прогресса ремесел, — влияния менее сильного и менее непосредственного, то лучшие историки, писавшие об этой эпохе, привели в этом отношении разительный пример, указав, что этой реформе бесспорно содействовало огромное расширение торговли, а следовательно и промышленности, вызванное открытием Америки и морского пути в Индию через мыс Доброй Надежды, которое в свою очередь было результатом прогресса промышленности и точных наук» («Организатор» т. V, стр. 98).

С тех пор, как в феодальном обществе стали развиваться элементы нового строя, оно вынуждено было отойти от своих первоначальных

позиций и сделать ряд уступок новым общественным классам. Возник переходный строй, далеко не изжитый даже в XIX веке. Коммуны (этим термином СенСимон называет крестьянство и непривилегированные слои городского населения — купцов, ремесленников и т. д.) не принимали непосредственного участия в этой перемене. Они предпочитали держаться на заднем плане, занимаясь своими непосредственными занятиями, и предоставляли инициативу преобразований тем общественным силам, которые поддерживали их интересы и говорили от их имени, — королевской власти, юристам и «метафизикам».

Королевская власть, отстаивая единство государства, боролась с феодалами. Раздав феодализм, она учредила на его обломках режим абсолютной монархии. При Людовике XIV наследственная знать окончательно потеряла политическое влияние, сохранив, однако, свои привилегии. Застрельщиками этих реформ были две социальные группы (или два «класса», как их называет СенСимон), к которым перешло духовное влияние, принадлежавшее некогда духовенству, — юристы и «метафизики».

Задачей юристов было пересоздание экономических отношений в согласии с принципами римского права. Не выступая открыто против феодалов, а иногда идя даже рука об руку с ними, они тем не менее приспособляли гражданские законы не к феодальному понятию о собственности, основанному на праве завоевания, а к индустриальному понятию о собственности, основанному на идее труда. Таким образом, они мало-помалу вносили в законодательство ряд изменений, соответствующих духу новой эпохи.

В этом же направлении действовали и «метафизики», подвергшие критике существующие учреждения с точки зрения разума и отвлеченных философских принципов.

Последними представителями этой группы были энциклопедисты, боровшиеся с церковью оружием критики и сатиры.

Оба эти «класса» были в свое время столь же полезными и нужными, как некогда феодалы и духовенство, — и оба они оказались не только бесполезными, но и вредными, когда индустриальное общество окончательно сложилось и начало создавать соответствующий ему политический строй. Они и были главными виновниками тех ошибок, которые совершила Французская революция.

Французскую революцию нельзя рассматривать как отрыв от старого, как неожиданный скачок из царства тьмы в царство света, открытое благодаря усилиям философов XVIII века. Она была заключительным

звеном всего предыдущего развития, и цель ее состояла лишь в том, чтобы окончательно оформить индустриальный строй, слагавшийся на протяжении всех предыдущих веков. «Уничтожение феодализма, проведенное Учредительным собранием, было только отменой остатков политической власти, которые еще сохранялись за дворянами и которые состояли лишь в нескольких правах, почти ничтожных по своему внутреннему значению, хотя весьма отяготительных для коммун. На самом деле разрушение феодализма совершалось, начиная с Людовика Толстого до Людовика XI, а после этого монарха — до Людовика XIV. То, что революция отняла у феодальной знати, абсолютно неважно по сравнению с тем, что феодальная знать потеряла за этот промежуток» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 88).

«Революционная эпоха была только последним периодом упадка старой социальной системы, упадка, который продолжался в течение пяти-шести столетий и который в этот момент достиг окончательного завершения. Ниспровержение этой системы не было результатом, а тем менее целью революции, — наоборот, оно было истинной причиной этой последней. Настоящей целью революции, предписанной ей ходом цивилизации, было образование новой политической системы. Революция до сих пор не кончилась именно потому, что цель эта не была достигнута» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 89).

В чем же заключалась эта цель?

В том, чтобы обеспечить права индустриалов и путем соответствующего законодательства создать наилучшие условия для экономического развития страны. Если бы идейные вожди революции поняли это, они не стали бы рассуждать о «наиболее совершенных законах», а просто-напросто постарались бы «издать законы, лучше всего обеспечивающие благосостояние земледелия, торговли и промышленности» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 145). Так и произошло бы, если бы революцию возглавили те элементы населения, интересам которых она должна была служить, — фабриканты, финансисты, земледельцы, ученые. Но, поглощенные своими работами, они отстранились от самостоятельной роли и предоставили политическое руководство двум «классам», наименее для этого пригодным, — юристам и отвлеченным мыслителям. Революция сбилась со своего настоящего пути и вместо индустриального строя привела сначала к террору, а потом к Наполеону.

По мнению юристов и отвлеченных философов, — людей, «привыкших принимать форму за содержание и слово за вещь», —

истинная задача общества — обеспечить наибольшую свободу его членам. Декларация прав человека и гражданина, ниспровержение королевской власти, — все вытекало из этого общего принципа. А между тем свобода сама по себе никогда не может являться целью человеческого общежития. «Свобода, рассматриваемая с истинной точки зрения, есть следствие цивилизации, прогрессивной, подобно ей, но она не может быть целью этой последней. Люди объединяются не для того, чтобы быть свободными. Дикари объединяются для охоты, для войны, но не для того, чтобы обеспечить себе свободу, ибо в таком случае им лучше было бы остаться одинокими. Нужна цель деятельности, — повторяю я, — а этой целью не может быть свобода, ибо она эту цель предполагает. Истинная свобода заключается не в том, чтобы, состоя в ассоциации, оставаться со скрещенными на груди руками, если этого хочешь... она, наоборот, заключается в том, чтобы без помех и со всей возможной широтой развивать материальные или духовные способности, полезные для ассоциации.

Заметим, что по мере прогресса цивилизации в соответствующей степени увеличивается и разделение труда как в материальной, так и в духовной области. Отсюда неизбежно вытекает, что люди, взятые в отдельности, начинают меньше зависеть друг от друга, но каждый из них начинает тем более зависеть от всей массы... А между тем смутная и метафизическая идея свободы, как ее понимают ныне, чрезвычайно сильно помешала бы воздействию массы на отдельных индивидуумов. С этой точки зрения она оказалась бы враждебной развитию цивилизации и созданию упорядоченной общественной системы, которая требует, чтобы части были тесно связаны с целым и друг с другом» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 16).

Если бы вожди революции понимали истинное значение свободы, они не стали бы гоняться за отвлеченными идеалами, а приспособили бы свои политические лозунги к нуждам и состоянию народного хозяйства. Вместо того, чтобы уничтожить королевскую власть, они постарались бы вернуть ее на старый путь — путь сотрудничества с коммунарами — и создали бы конституционное государство, удовлетворяющее требованиям индустриальных классов того времени. Это не значит, что индустриальный строй мог бы уже тогда сложиться во всей своей полноте: история движется вперед постепенными переходами, и потому в 1789 году, точно так же как и в XIX веке, речь шла лишь о временном режиме, подготовляющем будущее общество. Эту задачу, не выполненную революцией, должна выполнить современная эпоха. «Триумф

индустриального строя есть необходимый результат всего того прогресса, который совершила цивилизация вплоть до нашего времени не только во Франции, но и во всей Западной Европе; никакая человеческая власть не в силах помешать ему» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 63).

Современное состояние человечества выгодно отличается от революционного периода в том отношении, что теперь индустриальные классы достигли высокой степени экономического развития, а прогресс научных знаний и научных методов дал возможность понять исторические процессы и сознательно идти в указываемом ими направлении. «В настоящее время прогресс человеческого духа позволяет нам видеть, где мы находимся и куда стремимся, а следовательно, позволяет направлять наш путь наиболее выгодным образом. В этом и состоит огромное преимущество нашей эпохи перед первой переходной эпохой (т. е. эпохой распада римской империи и образования христианской Европы — Ст. В.). Мы уже можем знать то, что мы делаем, а это во все социальные эпохи и есть самое трудное...

Мы видим, что мы дошли до последнего периода перехода, что для создания либерального режима нам остается только выполнить философские работы, но мы видим также, что до завершения этих работ и до применения на практике их результатов должно протечь еще много времени. В течение этого промежутка было бы безумием пытаться установить индустриальный строй; нам нужен поэтому строй переходный, каковым является представительная монархия, которая только одна в состоянии мирно привести нас к новому социальному порядку» («Индустрия», т. III, стр. 27).

Такова в общем философия истории, созданная Сен-Симоном. Главная ее мысль — признание исторической необходимости, вызывающей политические изменения, — проведена довольно последовательно. Но насколько последовательно применена она к отдельным звеньям исторического процесса и к его отдельным моментам? Если мы внимательно вчитаемся в приведенные нами выдержки, мы сразу заметим ряд внутренних противоречий, совершенно не укладывающихся в рамки единой системы.

Основная причина этих противоречий заключается в том, что с самого же начала Сен-Симон резко разграничивает две области — мир духовный и мир материальный — и не делает никаких попыток свести их один к другому или хотя бы указать на тот общий источник, из которого оба они произошли. Он прямо называет их «элементами, различными по своей природе». Материальная культура — это одно, духовная культура — это

другое. Оба эти ряда явлений идут параллельно, не смешиваясь, и хотя между ними всегда имеется точное соответствие, но нет никакой внутренней связи. Это как бы двое часов, выверенных часовщиком и повешенных на один и тот же гвоздик. Они всегда показывают одно и то же время, но причина этой гармонии заключается не в них самих, а в той посторонней силе, которая подвела их регулятор. Правильность их хода СенСимон и называет исторической необходимостью, не замечая, что этим термином следовало бы скорее назвать неизвестного часовщика.

В самом деле. Вот перед нами два человека. Один копает землю лопатой, другой вонзает нож в горло ближнего, один трудится, другой завоевывает, один посвящает свои досуги размышлению о полезных ремеслах, другой в свободное от убийств время читает «Отче наш» и просит у священника отпущения грехов (которые, кстати сказать, для него вовсе и не грехи). Один — индустриал, другой — феодал. Почему эти два человека предаются столь различным видам деятельности, — СенСимон объясняет достаточно вразумительно: и того и другого толкает к определенному роду занятий экономическая необходимость, условия той материальной среды, в которой они живут. Но почему один питает пристрастие к христианской религии, а другой к опытному знанию? Чем объясняется такое различие духовных интересов и постепенная смена их в ходе человеческой истории?

Если бы СенСимон остался верным своему направлению, он попытался бы вывести эти интересы из той же самой трудовой и общеэкономической обстановки, которая навязала одному лопату, а другому нож. Нет ли связи между процессами труда и складом мышления? Человек социально слабый не будет ли искать помощи у «третьей силы» (бога), а человек социально сильный не попытается ли использовать эту «третью силу» для еще большего порабощения слабого? И не перенесут ли оба они в свои понятия об этой «третьей силе» идеи, непосредственно заимствованные из окружающей их общественной среды?

Эти вопросы как будто естественно навязываются всем мировоззрением Сен-Симона, который уделяет так много места экономическому фактору. Но именно их-то и не задает наш философ. Он проходит мимо них и предпочитает объяснять явления духовной области другими явлениями из той же области. По его мнению, религиозные представления феодального мира возникли благодаря «хитрости и обману» духовенства и «невежеству» масс. Это — тот самый ответ, который в свое время давали Вольтер и его единомышленники и который ни в малейшей мере не объяснял сути проблемы — вопроса о том, почему же священники

желали обманывать, а массы обманываться, и почему этих «возвышающих обманов» невежественные люди средневековья искали у католического духовенства, а не у деревенских колдунов.

А между тем, у Сен-Симона есть и другое объяснение, брошенное вскользь, но гораздо более правдоподобное. Оказывается, духовенство имело такое влияние еще и потому, что «оно внушало богачам и сильным мира сего обязанности, возложенные на них богом и нравственностью» и таким образом облегчало положение поработанных классов общества. Следовательно, его влияние объяснялось его социальной полезностью. Стоило бы провести эту мысль несколько дальше — и перед Сен-Симоном вскрылся бы целый ряд явлений экономического порядка, гораздо лучше объясняющих значение католической церкви в средние века, чем ссылка на «хитрость» духовенства и «невежество» масс. Духовенство было полезно не только тем (а может быть и совсем не тем), что оно внушало феодальной знати милосердие, но и тем, что оно ухаживало за больными, являлось посредником в спорах между цехами, давало в кредит деньги, организовывало хозяйственные процессы (монастырские предприятия) и т. д. Все это порождало экономическую зависимость населения от духовенства и в повседневной жизни играло куда большую роль, чем моральные проповеди.

СенСимон не учел этих обстоятельств и предпочел оставаться на дуалистической позиции, раздваивающей всю историческую действительность на две якобы несводимые друг к другу области — область духовных процессов и область материальных процессов.

Ту же двойственность он проявляет и в другом важнейшем вопросе, — вопросе о сущности морали.

Казалось бы, здесь гораздо легче провести единую точку зрения, чем по отношению к религиозной проблеме. Заповеди нравственности настолько тесно связаны с повседневной жизнью людей, с производственными отношениями, с имущественными интересами, что философ сен-симоновского направления как будто не мог не заметить этой зависимости, а раз заметив, не мог не установить причинной связи между «духовной» и «материальной» стороной морали. И действительно, СенСимон бросает — по своему обыкновению вскользь и мимоходом — ряд интересных замечаний насчет материальной обусловленности морали. Он говорит о том, что разделение труда усиливает связь между отдельной личностью и массой. Он разъясняет, что мораль христианской религии была социально необходима, ибо в противовес морали языческой, воздвигавшей непреходимую стену между уроженцами различных стран и

даже городов, она объединяла все человечество. «При помощи этого единства оказалось возможным организовать общество более обширное и объединить все народы в одну семью» («Индустрия», т. III, стр. 34).

Он утверждает, что индустриальный строй, «заменяющий приказ сотрудиничеством», неизбежно должен привести к окончательному утверждению принципа: «поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Он подчеркивает, что так как нравственность находится в тесном соответствии с социальным строем, то заповеди ее все время меняются и должны меняться. «Наша мораль может быть только переходной» («Индустрия», т. III, стр. 35).

Даже в одну и ту же эпоху, в недрах одного и того же строя одновременно существуют две морали: мораль правящих и мораль управляемых. «Ясно, что обязанности правительства не могут быть подчинены никакому моральному правилу, пока считается, что правящие должны управлять народом. Какая может быть общая мораль между правящим и управляемым? Один должен приказывать, другой — подчиняться, — вот и все» («Индустрия», т. III, стр. 35).

Отсюда как будто остается один шаг до признания классовой морали, обусловленной общественными отношениями. Наконец, говоря о нравственности будущего, СенСимон еще резче подчеркивает не только социальный, но и производственный ее характер. «Чтобы перейти к новой системе, нужно такое соотношение всей морали с производством, какое будет существовать между производством и политикой» («Индустрия», т. III, стр. 39). Другими словами, в будущем мораль будет непосредственно вытекать из условий общественного производства

И тем не менее, несмотря на все эти отдельные указания, СенСимон не решается сделать из них сам собою напрашивающийся вывод и объяснить возникновение моральных принципов экономическими отношениями. Мораль древности и средних веков оказывается «основанной на религии», а политика — основанной на морали. «Политика вытекает из морали, и учреждения народа суть только следствия его идей» («Индустрия», т. III, стр. 30). Итак, политика основана на морали, мораль на религии, религия на обмане одних и невежестве других, а обман и невежество неизвестно на чем. Последовательный ряд духовных явлений завершается иксом, приبلудным сыном неизвестных родителей. Вопрос о возникновении, а следовательно, и о природе морали остается таким образом неразрешенным, и СенСимон отделяется от него канцелярской отпиской: «Происхождение морали неизбежно совпадает с происхождением общества, и первое известно нам не более, чем второе» («Индустрия», т. III,

стр. 32). И однако признание морали самостоятельным фактором истории не мешает Сен-Симону всюду подчеркивать ее служебную роль и утверждать, что всякая система нравственности может существовать лишь постольку, поскольку она полезна для данного общественного строя.

Чем объяснить эти внутренние противоречия, эту робость мысли, боящейся развить признанные ею положения? Отчасти, конечно, низким уровнем тогдашних исторических исследований, уделявших слишком много внимания политическим событиям и политическим деятелям, и слишком мало — социально-экономическому укладу прошлых веков. Но это только отчасти, ибо, несмотря на скудость исторических материалов, СенСимон все же мог бы извлечь из них данные, свидетельствовавшие о причинной связи между факторами «духовными» и факторами «экономическими».

Главная причина его теоретических шатаний заключается в том, что он не мог вполне избавиться от воззрений энциклопедистов, считавших «идеи» направляющей силой истории. В первых его произведениях эта мысль господствует целиком, и только постепенно, по мере углубления в «индустриальные» проблемы, СенСимон начинает признавать наряду с властью идей, другую власть — власть экономических отношений. В его работе «Об индустриальной системе» этим отношениям приписывается даже большее значение, чем религии и морали. «В момент торжества индустриального строя религия вообще отмирает как система верований и заменяется мировоззрением, основанным на положительных, т. е. научных доказательствах» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 60). Но, несмотря на то, что по мере дальнейшей разработки сен-симоновских теорий «индустрия» все более и более выдвигается на первый план, СенСимон не решается признать ее единственным двигателем истории, создающим не только материальную, но и духовную культуру. Духовный фактор остается в его глазах самостоятельным элементом бытия, который всегда «совпадает» с экономикой, но никогда не «порождается» ею.

Этой двойственностью объясняется и его до чрезвычайности спутанное понятие о классах.

Если бы решающее значение он придавал идеологии, то общественные классы он определял бы на основании идеологических признаков; наоборот, если бы главным фактором истории он признал экономику, то в основу классовых делений он положил бы признаки экономические. А так как оба эти фактора он считает независимыми друг от друга, то и отдельные группы, на которые распадается общество, он устанавливает то на основании их имущественного положения (класс «собственников» и

класс «несобственников») то на основании их роли в производстве (класс «потребителей» и класс «производителей»), то на основании их профессии (класс «юристов»), то на основании их научно-философского направления (класс «метафизиков» и класс «ученых»). Естественно, что при объяснении отдельных исторических событий, это приводит к величайшей путанице.

Так, при анализе Французской революции оказывается, что классы юристов и метафизиков действовали вопреки интересам «индустриалов» и преследовали свои собственные цели, не имевшие ничего общего с подлинными нуждами страны. Вместо конкретных практических задач они возлюбили превыше всего абстрактную свободу и заботились не о благе «индустриального» большинства нации, а о логической выдержанности своих теорий. И хотя это стремление не имело под собой никакой экономической почвы, хотя оно подсказывалось исключительно губительной привычкой «принимать форму за содержание и слово за вещь», хотя оно было совершенно чуждо здравомыслящим купцам, фабрикантам, ремесленникам, крестьянам, т. е. подавляющему большинству французского народа, — оно все же возобладало над голосом здравого смысла и увлекло за собой Францию. Юристы и метафизики наделали кучу глупостей (провозгласили республику, казнили короля, ограничили накопление капиталов определенным максимумом, ввели режим террора и т. д.) и в конце концов оставили страну у разбитого корыта. Таким образом духовный фактор (вредные мыслительные привычки горсточки людей) оказался сильнее общего хода исторического развития, совершавшегося в течение «пяти-шести предыдущих столетий». Историческую необходимость победил ничем не оправданный произвол дурных законодателей.

Ясно, откуда получился этот неожиданный вывод, опровергающий все мировоззрение Сен-Симона. Если бы сам он не принимал «форму за содержание» и под внешней оболочкой отвлеченных лозунгов разглядел экономические интересы, он совершенно иначе определил бы классы, боровшиеся за власть, иначе взглянул бы на их борьбу, иначе понял бы ее развязку. Тот факт, что во время террора у власти оказался «народ», т. е. неимущие (факт этот признал сам СенСимон, и Энгельс вменил ему это в величайшую заслугу), заставил бы его попристальнее взглядеться в экономическую базу политических партий.

Он заметил бы, что «юристы» и «метафизики» не выступали единой сплоченной группой, а разбились на несколько враждующих партий, что каждая из этих партий отстаивала интересы определенных классов и групп (финансовой аристократии, крупной промышленной буржуазии, мелкой

буржуазии, крестьянства, городской бедноты и т. д.) и что сущность революции сводилась не к борьбе отвлеченных принципов, а к борьбе социально-экономических программ. Финал Французской революции не свелся бы тогда к победе чудаков над дураками, а предстал бы, как результат существовавших тогда экономических отношений. Такого объяснения СенСимон не мог дать потому, что в данном случае «форма» заслонила от него «содержание», и отвлеченные принципы он принял за самостоятельные движущие силы истории, между тем как на самом деле они подсказывались реальными интересами реальных общественных классов. Благодаря этому остались необъясненными и отдельные фазы революции и ее конечный исход.

Из приведенных нами примеров видно, что СенСимон не развил основных идей своего философского мирозерцания. Дуализм^[33] его системы помешал ему осознать действительное значение экономического фактора, и потому плодотворнейшие мысли — историческая необходимость, развитие новых общественных форм из недр старого строя, связь идеологии с социально-трудовыми отношениями и т. д. — остались недосказанными. Чтобы разработать его философскую систему, надо было предварительно преобразовать ее, выкинув за борт устарелые воззрения и буржуазно-классовые пристрастия. А это могли сделать только люди другого общественного класса, другой научной подготовки, другой эпохи.

Положительная программа

В предыдущей главе мы изложили общее философское мировоззрение Сен-Симона. Теперь нам следует перейти к практической части его системы и выяснить программу реформ, которую он развивал перед своей аудиторией. Всего последовательнее и стройнее она разработана в предпоследнем его труде «Катехизис индустриалов», где он начинает с социологического анализа современного ему общества и дает экономическую характеристику каждого из составляющих его классов. Интересно при этом отметить, что характеристики эти, в отличие от его предыдущих работ, основываются не на двух признаках («материальном» и «духовном»), а только на одном: на отношении людей к производственному процессу. Это придает гораздо большую ясность его построениям, но все же понятие «класса» остается шатким и внутренне противоречивым, ибо, сосредоточивая все внимание на роли людей в процессе производства, СенСимон совершенно не принимает в расчет их отношения к орудиям

производства. Благодаря этому оказывается возможным отнести к одним и тем же социальным группам людей, экономические интересы которых прямо противоположны: рабочие и капиталисты оказываются в одном лагере потому, что и те, и другие работают в предприятиях. О причинах такого смешения мы будем говорить ниже.

Современная Франция, — говорит СенСимон, — делится на три класса: наследственную знать, промежуточные классы и класс индустриалов.

О наследственной знати, ее происхождении и политической роли мы уже упоминали. Промежуточные классы — это юристы, землевладельцы, не занимающиеся сельским хозяйством, и рантье, живущие на проценты с капитала. По своему происхождению они, конечно, не принадлежат к феодальной аристократии; в недалеком прошлом они даже боролись с нею и отстаивали лозунги великой революции. Но в настоящее время они, подобно аристократам, не участвующий в каких трудовых процессах, не связаны ни с какой отраслью индустрии, и потому могут быть отнесены к той же социальной категории, что и наследственная знать. Вместе с нею они составляют буржуазный класс, который ныне стоит у кормила правления, занимается политическими интригами и издает законы, не считаясь с интересами производителей. «Ныне буржуазный класс вместе с аристократией давит класс индустриальный. По своему социальному облику буржуа — это мелкие аристократы, и индустриалы заинтересованы в том, чтобы одновременно освободиться и от засилья потомков франков (аристократов. — Ст. В.) и от засилья промежуточного класса, который был создан аристократами и который всегда будет стремиться образовать феодальную знать» («Катехизис индустриалов», т. VIII, стр. 39). Третий класс, оставляющий огромное большинство французской нации, — это класс индустриалов.

«Индустриал — это человек, который работает для того, чтобы произвести или передать в распоряжение отдельных членов общества один или многие предметы, удовлетворяющие их нужды или их физические вкусы; земледелец, сеющий хлеб, разводящий птицу или животных, есть индустриал; извозчик, кузнец, слесарь, плотник — суть индустриалы; фабрикант башмаков, шляп, полотен — тоже индустриал; купец, моряк коммерческих судов — тоже индустриалы. Все индустриалы... образуют три больших класса, которые называют земледельцами, фабрикантами и купцами» («Катехизис индустриалов», т. VIII, стр. 3–4).

К индустриальному классу следует отнести и ученых, ибо суть их работы заключается в установлении физических законов, с помощью

которых человечество воздействует на природу и овладевает ею. «Как мы уже говорили, индустриальный класс составляется из двух больших семей: из ученых или теоретических индустриалов и из непосредственных производителей или прикладных ученых... Французская теоретическая индустрия уже получила свое устройство, и организация французских ученых, а именно академия наук, завершена, за исключением философии, которой у ученых нет и пока еще не может быть, но которую они скоро будут иметь. Ученым... не хватает только одного — им необходимо стать свободными и избавиться от всякого правительственного влияния» («Индустрия», т. III, стр. 60).

Между отдельными группами индустриалов существуют некоторые экономические противоречия, но эти противоречия отступают на задний план по сравнению с объединяющей их общей целью — свержением власти непродуцируемых классов общества. «Я признаю, что по отношению к налоговому законодательству существует некоторое противоречие между интересами землевладельцев и всех вообще фабрикантов, с одной стороны, и интересами купцов, с другой; но противоречие это бесконечно мало по сравнению с противоречием между интересами индустриалов и интересами старой и новой знати, старого и нового духовенства, праздных землевладельцев и вообще всех тех французов, которые не принадлежат к индустриалам... Индустриалы всех категорий заинтересованы в экономной администрации и в поддержании общественного спокойствия как внутри страны, так и вне ее, между тем как знать, юристы и не занимающиеся хозяйством землевладельцы могут желать, чтобы расхищение (государственных средств. — Ст В.) продолжалось, так как оно им выгодно, и могут желать внешних войн и внутренних революций, так как эти кризисы могут оказаться для них выгодными, обеспечивая им места в общественной администрации» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 140–141). Долгое время индустриалы были бессильны в политическом отношении и не имели голоса при решении общественных вопросов. Это объяснялось главным образом тем, что они были разделены на множество отдельных групп, работавших каждая в своей специальности и не имевших друг с другом никакой связи. В настоящее время положение совершенно иное: через посредство банков промышленность объединена и представляет собою единое целое. В ее распоряжении имеются огромные денежные средства, делающие ее самой мощной экономической силой государства.

«До XVIII века земледельцы, фабриканты и купцы образовывали только отдельные корпорации... Но из потребностей рождаются и средства:

вскоре образовалась новая отрасль промышленности, именно банковская промышленность... Для промышленности и для общества учреждение банков привело в общем к тому, что масса товаров, равно как и изящество их весьма увеличились, и индустриальный класс стал обладать гораздо большей денежной силой чем все прочие классы, взятые вместе, и чем даже правительство» («Катехизис индустриалов», т. VIII, стр. 27–30).

Политические цели индустриального класса непосредственно вытекают из его экономических интересов. Для процветания промышленности необходим внешний мир, внутреннее спокойствие, дешевый правительственный аппарат и минимум правительственного вмешательства в частную жизнь. Все это совпадает с интересами огромного большинства народа, следовательно, руководящие индустриалы представляют собою как раз ту общественную группу, которой необходимоверить управление страной.

«Общая политическая задача огромного большинства заключается в том, чтобы им управляли как можно дешевле и как можно меньше и чтобы во главе правления стояли люди наиболее способные, пользующиеся такими средствами, которые всего лучше обеспечивают общественное спокойствие. Единственное средство удовлетворить все эти желания большинства заключается в том, чтобы поручить наиболее видным индустриалам управление государственными ресурсами, ибо наиболее видные промышленники более всего заинтересованы в поддержании спокойствия, экономии государственных расходов и ограничении правительственного произвола. Наконец, они обнаружили наибольшие способности по части положительной администрации, превосходя в этом отношении всех прочих членов общества, ибо эти способности доказываются успехами их частных предприятий» («Катехизис индустриалов», т. VIII, стр. 7–8). Передача управления государством наиболее влиятельным промышленникам облегчается еще и тем обстоятельством, что владельцы предприятий являются естественными руководителями своих рабочих. Руководя ими на фабрике, они должны руководить ими и политике. «Распорядители общественных работ являются прирожденными покровителями рабочего класса: если же мануфактуристы будут держаться особняком от рабочих, и в области политики будут говорить языком, непонятным для этих последних, то этот многочисленный и еще весьма невежественный класс, не будучи руководим своими естественными вождями, может легко поддаться интриганам, которые желают делать революции, чтобы захватить себе власть» («Катехизис индустриалов», т. VIII, стр. 190–191).

Эта связь между предпринимателями и рабочими покоится на общности *их интересов*, ибо расцвет промышленности, обеспечивающий благоденствие фабрик и заводов, в то же время уничтожает безработицу и повышает уровень жизни рабочего класса. С другой стороны, фабриканты заинтересованы в поднятии технической квалификации своих рабочих, следовательно, в улучшении системы их образования. Значит, и в области культуры между рабочими и предпринимателями существует та же общность интересов, как и в области производства.

«Люди народа, точно так же как и богачи, имеют два рода потребностей — потребности физические и потребности моральные; им нужны и средства существования и образование... Каким образом можно обеспечить народу возможный максимум работы? Лучшее средство — это доверить руководителям промышленных предприятий составление бюджета, а следовательно, и управление государственной администрацией; ибо по самой природе вещей руководители промышленных предприятий (являющиеся подлинными вождями народа, так как именно они командуют им в сфере его повседневных работ) в своих собственных интересах всегда будут стараться возможно более расширить свои предприятия, а благодаря их усилиям в этом направлении максимально возрастет — в пределах возможного — общая масса работ, выполняемых людьми из народа.

Перехожу к другому вопросу: каково образование, которое должно даваться народу и каким образом оно должно даваться? — Образование наиболее необходимое для народа, — это такое, которое может сделать его наиболее способным к хорошему выполнению поручаемых ему работ. Некоторые понятия из геометрии, физики, химии, гигиены являются бесспорно наиболее полезными для него познаниями, помогающими ему в его жизненном быту; очевидно, что ученые, изучающие физические и математические науки, только одни и могут создать хорошую систему народного образования» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 82–84),

Из всего сказанного вытекает, что политическая реформа, выдвигаемая на очередь всем ходом исторического развития, должна осуществляться сверху, а не снизу.

Ее инициаторами должны быть выдающиеся предприниматели, административные способности которых доказаны на практике их богатством и большим числом рабочих, работающих в их предприятиях. Реформа должна осуществляться постепенно. Первым шагом в этом направлении будет передача бюджетных и финансовых вопросов в ведение наиболее видных индустриалов. В первую очередь бюджет должен будет разрешить две задачи: устранение ненужных расходов и изыскание мер,

способствующих преодолению безработицы. «Проект бюджета на 1821 год должен быть составлен министром финансов, принадлежащим к классу профессиональных индустриалов; этот проект должен обсуждаться и изменяться советом, состоящим из самых богатых и наиболее способных земледельцев, купцов и фабрикантов; первый параграф этого бюджета в расходной его части должен гарантировать существование людям, не имеющим собственности, обеспечив работу лицам трудоспособным и материальную помощь инвалидам» («Об индустриальной системе», т. V, стр. 124–125).

Улучшение участи наиболее многочисленного и наиболее бедного класса общества — вот главнейшая цель всех предлагаемых реформ. «Непосредственная цель моего начинания — это наивозможное улучшение участи того класса, у которого нет иных средств существования, кроме собственных рук; моя цель — облегчить участь этого класса не только во Франции, но и в Англии, Бельгии, Португалии, Испании, Италии, во всей остальной Европе и во всем вообще мире.

Несмотря на огромный прогресс цивилизации (со времени освобождения коммун) класс этот является еще и до сих пор наиболее многочисленным во всех цивилизованных странах и во всех нациях земного шара составляет более или менее значительное большинство населения. Именно о нем должны были бы главным образом думать правительства, а между тем они меньше всего заботятся об его интересах: они смотрят на него как на класс, главная задача которого — подчиниться правительству и вносить налоги, и в отношении его заботятся больше всего лишь о том, чтобы держать его в состоянии самого пассивного подчинения» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 81).

При проведении этих реформ индустриалы должны идти рука об руку с королевской властью, для которой они являются самой прочной и надежной опорой.

«При существующем положении вещей Бурбонская династия неизменно почувствует необходимость навсегда изменить свою политическую систему; с одной стороны, она будет вынуждена остановить (реставрационные. — Ст. В.) попытки старой знати... а с другой — постарается обеспечить себе прочную опору, которую она может найти только в вас...

Если вместо того, чтобы ждать, пока она обратится к вам с предложением союза, вы сами поспешите предложить его ей, она несомненно примет это предложение со всяческой благосклонностью и искренно поддержит его. Затем выразите в адресе твердое и единоегласное

желание французской промышленности... навсегда гарантировать династии мирное обладание королевской властью, несмотря на стремления всех честолюбцев. В благодарность за столь существенную услугу она с полной готовностью станет во главе вас, усвоит себе индустриальный характер и примет все необходимые меры для того, чтобы бюджет составлялся и обсуждался вами и, следовательно, для вас. Этим начнется органическая работа индустриального режима. С этого момента режим этот станет устанавливаться мало-помалу, законными средствами, без усилий, без кризисов, так сказать сам собой, по мере того как будут образовываться и уясняться (его) идеи» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 66–76).

Индустриальный режим, основанный на мирном сотрудничестве, не может пользоваться для своего утверждения средствами насилия, ибо насилие — особенность феодального строя. В его распоряжении имеется только один способ — мирная пропаганда... «Способ убеждения есть единственный, который мы можем употреблять для достижения нашей цели. Если бы даже нас преследовали так же, как первых христиан, пользование физической силой было бы для нас совершенно исключено» («Об индустриальной системе», т. VI, стр. 106).

После ряда частичных реформ, подготовляющих население к новому строю (устранение наследственной знати, выкуп земель у землевладельцев, не занимающихся сельским хозяйством, расширение экономических прав крестьян-арендаторов и т. д.), можно будет приступить к учреждению индустриального строя в его полном, развернутом виде. Организуют его наиболее талантливые и богатые предприниматели без участия широких масс. «Народ будет устранен. Задача будет разрешена в его интересах, но сам он останется в стороне, пребывая пассивным» («Организатор», т. IV, стр. 158). Политическую сторону индустриального режима СенСимон описывает следующим образом.

«Будет учреждена первая палата, носящая имя «палаты изобретений».

Эта палата будет состоять из трехсот членов; она будет разделена на три секции, которые могут собираться отдельно, но работы которых носят официальный характер только в том случае, если они обсуждали их сообща.

Каждая секция может созывать объединенное собрание всех секций.

Первая секция будет состоять из двухсот гражданских инженеров; вторая из пятидесяти поэтов или других творцов в области литературы, а третья из двадцати пяти поэтов, пятнадцати скульпторов или архитекторов и десяти музыкантов.

Эта палата будет заниматься следующими работами:

По истечении первого года своего существования она представит проект общественных работ, имеющих целью увеличение богатств Франции и улучшение жизни ее обитателей во всем том, что касается пользы и удовольствий; затем каждый год она будет давать заключения относительно добавлений к первоначальному плану и возможных в нем улучшений.

Осушение болот, раскорчевка земель, прокладка дорог, постройка каналов будут считаться самыми важными частями этого проекта; намечаемые дороги и каналы не будут рассматриваться только как средство улучшения транспорта, и постройка их должна выполняться таким образом, чтобы сделать их наиболее приятными для путешественников.

Эта палата представит и другую работу, заключающуюся в проекте общественных празднеств.

Празднества будут двух родов: праздники надежды и праздники воспоминания.

.....

Ядро палаты изобретений будет состоять из:

Восьмидесяти шести главных инженеров путей сообщения, работающих в департаментах.

Сорока членов французской академии.

Художников, скульпторов, музыкантов, принадлежащих к Институту.

Каждый год в распоряжение этой палаты будет предоставляться сумма в 12 млн. франков, предназначенная на поощрение полезных изобретений.

Ядро этой палаты само дополнит число членов палаты.

.....

Будет учреждена вторая палата, носящая имя «палаты исследования».

Эта палата будет состоять из трехсот членов: ста физиков, изучающих физику органических тел, ста физиков, изучающих физику неорганических тел, и ста математиков.

Этой палате поручаются три рода работ.

Она рассматривает все проекты, представленные первой палатой, и дает детальное и мотивированное заключение по поводу каждого из них.

Она составляет проект общего государственного образования. План этот разделяется на три степени образования, соответствующие различным степеням достатка граждан. Цель образования — возможно лучше подготовить молодых людей к проектированию полезных работ, к управлению ими и осуществлению их.

Так как каждый гражданин может исповедовать любую религию, какую он хочет, и следовательно, может воспитывать своих детей в той

религии, которую он предпочитает, то в плане образования, представляемом этой палатой, никакой речи о религии быть не должно.

Третья работа, поручаемая этой палате, — выработка проектов следующих общественных празднеств:

Праздники мужчин, праздники женщин, праздники мальчиков, праздники девочек, праздники отцов и матерей, праздники маленьких детей, праздники хозяев мастерских, праздники рабочих.

.....

В распоряжение этой палаты будет ежегодно отпускаться сумма в 25 млн. франков на расходы, связанные с государственными школами, и на выдачу поощрительных премий, ускоряющих прогресс физических и математических наук.

Палата исследования будет составлять на основании тех же правил, что и палата изобретений.

Ядром этой палаты будет физическое и математическое отделение Института.

После образования двух первых палат, палата общин реорганизуется и примет название «палаты исполнения».

Эта палата примет меры к тому, чтобы в ней была представлена каждая отрасль промышленности и чтобы каждая такая отрасль имела число депутатов, пропорциональное ее значению.

Члены палаты исполнения не должны получать никакого жалования, ибо все они должны быть богатыми и избираться из среды главных руководителей промышленных предприятий.

Палате исполнения поручается следить за исполнением всех принятых проектов и руководить их выполнением; только ей одной поручается установление налогов и определение способов взимания их.

Все три палаты вместе образуют новый парламент, который будет облечен высшей конституционной и законодательной властью.

Каждая из трех палат будет иметь право созывать парламент.

Палата исполнения может обращать внимание двух прочих палат на цели, кои она сочтет необходимыми. Таким образом каждый проект представляется первой палатой, рассматривается второй и окончательно принимается третьей.

Если какой-либо проект, принятый первой палатой, отвергается второй, то во избежание потери времени он снова направляется в первую палату, не проходя через третью» («Организатор», т. IV, стр. 51-58).

Индустриальный строй, соответствующий современной эпохе исторического развития, не может ограничиться одной нацией. Постепенно

он охватит весь земной шар. Но первый толчок в этом смысле должна дать Франция, наиболее подготовленная к реформе и в экономическом, и в политическом отношении. В ней раньше всего образуется индустриальная партия, которая затем начнет действовать и во всех прочих странах Европы, а затем подчинит своему влиянию все цивилизованное человечество. «Как только организуются парижские индустриалы, организация всех французских, а затем и всех западноевропейских индустриалов станет легким делом, а из этого неизбежно последует организация европейских индустриалов в политическую партию, учреждение в Европе индустриальной системы и уничтожение системы феодальной» («Катехизис индустриалов» т. VIII, стр. 52).

Такова социально-политическая платформа Сен-Симона. Она чрезвычайно резко отличается и от утопий его предшественников, и от практических попыток его современников. Во-первых, в основе ее лежит мысль о том, что развитие производительных сил является неременной предпосылкой общественных преобразований. Во-вторых, реформу социального строя Сен-Симон рассматривает как общемировую задачу, которая может быть разрешена не усилиями отдельных реформаторов, а совместной и единовременной деятельностью всех наций земного шара.

Утопические романы конца XVIII века, полусоциалистические идиллии Мабли^[34] и коммунистические планы Морелли^[35] были посвящены почти исключительно вопросам распределения и упускали из виду вопросы производства. Их авторам казалось, что равное распределение благ само собой приведет к техническому прогрессу и материальному благополучию общества. Социальный вопрос они рассматривали с потребительской точки зрения. Иного подхода не могло и быть у радикально настроенных мелкобуржуазных интеллигентов, не связанных с производством и не имеющих никакого представления о трудовых процессах. Наоборот, для Сен-Симона, прекрасно знакомого с техникой промышленности и близко стоявшего к торгово-промышленным группам, на первом плане стояло производство, ибо степень благосостояния широких масс населения зависела, по его мнению, исключительно от степени развития производительных сил. Этим и объясняется тот пафос, с которым он и его ученики говорили об индустрии и индустриалах. Индустрия в его глазах была преддверием к золотому веку, началом совершенно нового этапа человеческой истории. И хотя он не вскрыл оборотной стороны индустриального строя, не разглядел его внутренних противоречий, все же отход от потребительской точки зрения и перенесение центра тяжести на производственные проблемы было

огромным шагом вперед.

Общемировой характер социальных преобразований является второй особенностью его доктрины. Оуэн и Фурье надеялись изменить общественный строй путем насаждения маленьких образцовых общин, пример которых должен был увлечь человечество на новый путь. Сен-Симону была ясна вся несостоятельность подобных мечтаний. Он прекрасно понимал, что капиталистическая промышленность охватила все отрасли труда и все уголки земного шара и что заменить ее маленькими самодовлеющими общинами нельзя. Он стремился поэтому не уничтожить капитализм, а, наоборот, придать ему универсальный характер, преобразовав социальный строй с помощью руководящих групп капиталистического общества («индустриалов», т. е. предпринимателей, и «ученых», т. е. научно-технической интеллигенции).

В полном соответствии со своим философско-историческим мировоззрением Сен-Симон смотрит на социальную реформу, как на долгий процесс, совершающийся в течение многих десятилетий. Он не предрекает своим идеям быстрого торжества. Прежде чем человечество полностью осуществит индустриальный строй, ему придется пройти через длительный переходный период, во время которого наряду с новыми учреждениями будут еще существовать и остатки старого общественного порядка. Поэтому наряду с программой-максимум, осуществляемой в момент окончательной победы индустриальных классов, Сен-Симон набрасывает и программу-минимум, приспособленную к промежуточной исторической эпохе. В этом отношении он также отличается от социалистов-утопистов, которые, выдвигая детально разработанные планы идеальных поселений и коммун, совершенно не считались с исторически сложившейся действительностью. По мнению социалистов-утопистов, социальная проблема решалась силой идеи, по мнению Сен-Симона — неодолимым ходом истории.

Сен-Симон был в гораздо большей степени реалистом, чем прочие современные ему реформаторы. Но все же и в своей практической программе он не смог провести этот реализм до конца, подобно тому, как он не провел его в своем философско-историческом мировоззрении. Социальная сущность индустриализма осталась для него скрытой, а потому и предлагаемый им общественный строй соответствовал не стремлениям рабочей массы, а стремлениям капиталистических слоев.

Буржуазный характер сен-симоновской реформы чрезвычайно ярко проявляется в тех ее пунктах, которые касаются взаимоотношений между классами.

При создании своей политической системы. СенСимон исходил из вполне правильного положения, что в основе политических партий лежат определенные экономические интересы. В противоположность либералам того времени, обосновывавшим свои требования отвлеченными моральными принципами, он отчетливо вскрывал экономическую базу политики и выводил из нее все предлагавшиеся им практические реформы. Но экономические интересы он определял с чисто внешней стороны, не вскрывая внутренних противоречий, свойственных капиталистическому производству, и потому как его программа, так и его тактика оказались абсолютно несовместимыми с той конечной целью, которую он себе ставил («улучшение участи самого многочисленного и самого бедного класса»). Его средства сводили на-нет его цель.

Сен-Симона интересует производство, как таковое. По его мнению, все то, что способствует развитию производства, в одинаковой степени выгодно для всех его участников, независимо от того, какую роль они играют в процессе труда. Предприниматель трудится, трудятся и его рабочие, следовательно, они принадлежат к одному и тому же общественному классу («индустриалам») и имеют одни и те же интересы. Различие между первыми и вторыми заключается только в том, что одни руководят работами, а другие исполняют их; организаторы и исполнители одинаково необходимы при всяком трудовом процессе, — следовательно они, как участники общего дела, преследуют общую экономическую цель, единство же экономических целей предполагает и единство целей политических. Поэтому предприниматель — естественный вождь и «прирожденный покровитель» своих рабочих, а рабочие — его естественные и «прирожденные» соратники.

Этот ход мысли был бы понятен при одном маленьком условии: при отсутствии частной собственности на орудия производства. Если бы предприниматель работал не ради своих личных выгод, а ради выгод общества, если бы его цели совпадали с целями общественными, если бы прибыли предприятия попадали не в его собственный карман, а в государственную казну, то естественно, что между ним и его рабочими не могло бы быть никакого антагонизма.

Различие между участниками производственного процесса носило бы тогда чисто технический характер, и политические стремления организатора не могли бы не совпадать с политическими стремлениями людей, работающих под его руководством. Но в условиях капитализма, основанного на частной собственности, и производство и накопление подчинены личным интересам предпринимателя. Рабочие в свою очередь

работают не для того, чтобы произвести как можно больше пар башмаков или каких-либо других товаров, а для того, чтобы получить средства к существованию, — другими словами, работают тоже во имя своих личных выгод. Поэтому и взаимоотношения между рабочими и предпринимателями определяются не нуждами производства, не техническими процессами труда, а условиями распределения произведенных предприятием ценностей. Чем большую долю этих ценностей присвоит себе предприниматель, тем хуже для рабочих, и наоборот. Естественно, что при таком положении вещей о гармонии интересов тех и других не может быть никакой речи.

Чтобы понять суть капитализма, надо было понять суть капиталистического производства и в первую очередь природу ценности. Только после того как установлено, что всякая ценность создается трудом, можно понять и процесс накопления, и присвоение капиталистом продуктов общественного труда, а следовательно, и непреодолимый антагонизм между предпринимательским классом с одной стороны и классом рабочих и подавляющим большинством общества — с другой. Лишь гений Маркса оказался в силах одолеть эту задачу. Сен-Симон не смог не только разрешить ее, но даже поставить ее. А поскольку он не понимал природы капиталистического производства, он не мог понять ни внутренних противоречий производственного процесса, ни различия интересов участвующих в нем классов. Естественно, что, выдвигая на первый план отношение людей к процессу труда («классы производительные» и «классы непроизводительные», «бездельники» и «трудящиеся») и упуская из виду их отношение к орудиям труда, он должен был прийти к выводу, что капиталист — истинный защитник рабочих, другими словами, что заботу об овцах нужно поручить волкам и никому другому.

Но чем объяснялась такая общая установка Сен-Симона? В первую очередь, конечно, тем, что сам он был выходцем из имущих классов и с ранних лет усвоил себе определенные взгляды на собственность. Все его симпатии были на стороне «самого многочисленного и бедного класса», злочлечения которого он испытал на своем собственном опыте в годы лишений и нужды, но симпатии эти не могли преодолеть глубоко вскоренившихся привычек мышления. Да и в той среде финансистов и крупных предпринимателей, в которой он вращался в последний и в теоретическом отношении самый важный период своей жизни, представления о богатстве как «мере способностей», о прибыли как вознаграждении за талант, о фабрикантах как естественных вождях

рабочих — были чем-то само собой разумеющимся. Естественно, что такой подход не только затруднял, но и прямо исключал изучение производственных отношений с точки зрения действительного производителя, т. е. рабочего.

Общая обстановка эпохи тоже мало благоприятствовала подобному изучению. Рабочие еще не проявили себя, как особый социальный класс, имеющий собственные задачи и свою собственную тактику. Их борьба с предпринимателями выражалась в ряде отдельных экономических выступлений, но не приняла еще характера политической борьбы, направленной против всех устоев буржуазного общества. Крупное машинное производство, только что начинавшее утверждать свое господство в промышленности, не успело выявить свойственных ему внутренних противоречий. Таким образом сама историческая действительность не предоставляла в распоряжение Сен-Симона того материала, который она два десятилетия спустя в такой изобилии дала Марксу и Энгельсу, и который на всякого вдумчивого исследователя влиял гораздо сильнее, чем самые остроумные теоретические доводы.

Наконец, политические задачи момента выдвигали на первый план не борьбу рабочих и капиталистов, а борьбу торгово-промышленной буржуазии и феодальной знати.

Несмотря на конституционную «хартию» и парламентский режим тогдашней Франции, буржуазный строй далеко еще не утвердился: для завоевания власти и обеспечения гражданских свобод буржуазии надо было предварительно справиться с королем и аристократией. Во имя этой основной задачи даже радикально настроенные элементы общества склонны были заглушевать социальные противоречия, дабы не нарушать единства политического фронта. Теория гармонического сотрудничества промышленных классов, усиленно насаждавшаяся Сэем и прочими экономистами, как нельзя лучше соответствовала этой политической цели и потому охотно принималась на веру даже такими людьми как Сен-Симон, которого вряд ли можно заподозрить в сознательном игнорировании интересов индустриального пролетариата.

Все это вместе взятое помешало Сен-Симону углубить свое исследование и раскрыть подлинный смысл «экономических интересов» отдельных общественных классов. А допустив ошибку в исходном пункте, он неизбежно должен был повторить ее и в своих выводах и выдвинуть такой план реформ, который вместо освобождения сулил рабочим еще большее закабаление.

Его политические планы принадлежат к числу тех немногих утопий,

которые полностью осуществились в действительности. В этом заключается с одной стороны их наибольшая ценность, а с другой — их наилучшее опровержение. В самом деле, XIX век сделал почти все то, что рекомендовал Сен-Симон. Ученые и техническая интеллигенция стали экспертной комиссией буржуазии, и хотя никакой «первой палаты» из них не составилось, это не помешало им выполнять свои функции с отменным успехом.

Финансовый (по выражению Сен-Симона «банковский») капитал объединил промышленную буржуазию и стал ее направляющей силой. «Вожди производства», т. е. фабриканты и заводчики, получили во всех парламентах мира господствующее влияние и всюду стали истинными распорядителями национальных судеб. Даже короли переделали себя по его рецепту, и злополучный Вильгельм II стал с одной стороны коммивояжером германской промышленности, а с другой — инициатором пресловутого «социального законодательства». Все произошло в точности так, как указывалось в «Катехизисе индустриалов». А между тем результаты оказались прямо противоположны надеждам; вместо бесперебойного хода производства — кризисы, вместо обилия работы — безработица, вместо объединения промышленников отдельных государств — ожесточенная конкуренция и безудержная борьба за рынки, вместо всеобщего и вечного мира — мировая война, окончание которой служит только преддверием к новой.

Социально-политическая программа Сен-Симона оказалась великолепной как прогноз и никуда негодной как план «улучшения участи масс». Делая честь его историческому предвидению, она вскрывает его несостоятельность в роли политического реформатора, ибо то, что было для Сен-Симона средством (правление выдающихся индустриалов) ни в малейшей мере не соответствовало его «прямой цели» (улучшению положения масс).

«Евангелие от Сен-Симона»

В 1825 году, за несколько недель до смерти философа, вышло его последнее произведение — «Новое христианство», которое должно было завершить его систему. У читателя эта книга рождает на первых порах чувство величайшего недоумения, — до такой степени противоречит она главным положениям его предыдущих работ. Там — отрицание «слепых верований» и замена их «положительными доказательствами науки»; здесь

— признание «божественности» христианской морали и утверждение, что именно она должна руководить прогрессом человечества; там глашатаями моральных истин объявляются ученые, здесь — воспитанное в сен-симоновской вере духовенство; там благоденствие человечества вытекает из правильно понятых «экономических интересов», здесь оно мыслится, как результат моральной проповеди; там храм науки заменяет собою все прочие, здесь — признается необходимость самых настоящих церквей, с культом, обрядами и соответствующей внешней обстановкой. Что же это такое, как не отрицание всего предыдущего мировоззрения?

Человек, привыкший подчинять все свои философские взгляды одному основному принципу, не может не придти к заключению, что СенСимон на старости лет изменил самому себе. Но если мы вспомним, что СенСимон был дуалистом и признавал существование двух независимых друг от друга начал — духовного и материального — то внутреннего противоречия в данном случае не окажется.

В предыдущих своих работах он рассматривал жизненные явления главным образом в материальном плане, теперь он перешел к рассмотрению плана духовного и попытался доказать, что историческое развитие духовного начала идет к той же конечной цели, как и мир материальных социально-экономических отношений: феодализму соответствовало католическое христианство, индустриальной системе будет соответствовать новое христианство, основанное Анри де Сен-Симоном. «Новое христианство» — не опровержение прежних мыслей, а подтверждение их с другой точки зрения. Повторяя наше прежнее сравнение, можно сказать, что СенСимон только проверил одни часы другими и, отметив одинаковость их хода, оставил их висеть на прежнем месте. В данном случае Сен-Симона можно упрекнуть в неправильном подходе к действительности, но не в отказе от своих собственных положений.

Но почему СенСимон призывает к обновленному христианству, а не к какой-либо другой религиозной системе, более близкой его научным взглядам? Раз уж без «духовного начала» обойтись никак нельзя, не проще ли было бы облечь его в новую форму, вполне соответствующую индустриальному строю и не имеющую никакой связи с феодальным прошлым? Эта кажущаяся непоследовательность объясняется сен-симоновской теорией исторического развития. В истории не может быть скачков, — все крупные изменения социально-политического строя совершаются постепенно, и каждая новая эпоха неизбежно хранит в себе некоторые элементы старой, пока они не заменятся другими, более

совершенными. Этот закон постепенности в одинаковой мере приложим как к политике, так и к религии. Несмотря на то, что экономические основы индустриального строя уже сложились, наряду с ними существуют и более или менее долгое время будут существовать религиозные верования и религиозные общества, возникшие на заре европейской истории. Объявлять им войну и стремиться к их уничтожению — значило бы поступать подобно «метафизикам» XVIII века, которые искореняли христианство, не позаботившись предварительно о его преемнике. Задача заключается, следовательно, не в простом устранении христианства, а в его приспособлении к новым общественным потребностям, в создании переходной религии, соответствующей переходному периоду человеческого общества.

Отношение Сен-Симона к этой переходной религии не может не быть двойственным. Она является для него не внутренней потребностью, а внешней необходимостью, навязанной слишком медленным ходом развития. В «Индустрии» Сен-Симон говорит совершенно прямо, что в будущем духовенство, а следовательно, и религиозный культ — уничтожается, но что до времени их следует терпеть. «С духовенством дело обстоит так же, как с королевской властью: уничтожение его еще невозможно. Эта задача суждена нашим потомкам и она осуществится мирно, сама собой, если мы будем достаточно мудры, чтобы приспособляться к движениям человеческого духа и не стремиться перепрыгнуть через одно поколение» («Индустрия», т. III, стр. 40).

Сам он в религии не нуждается, — с него вполне достаточно тех выводов, которые можно сделать на основании опыта и точных наук. Будущее человечество, воспитанное в обстановке индустриального строя, тоже не будет в ней нуждаться. Но современное поколение, слишком сроднившееся с идеей бога и сверхчувственного мира, пока еще не в силах обойтись без каких-то религиозных верований. Эту потребность нужно удовлетворить наиболее безобидным и наиболее полезным для общества способом: нужно создать такую систему верований, которая не препятствовала бы прогрессу индустриального строя, а наоборот — содействовала бы ему. Поэтому Сен-Симон становится на точку зрения своих отсталых современников и так комбинирует их морально-религиозные взгляды, чтобы образовалось мировоззрение, приемлемое для нового общества. Он поступает в данном случае, так же, как поступил некогда с Наполеоном, подсунав ему, под флагом борьбы с Англией, брошюру о реформе социального устройства. Сен-Симон говорит о религии, а подразумевать под ней надо все ту же «индустрию».

Это, конечно, не есть сознательный обман: СенСимон добросовестно старается влезть в душу современника и рассуждать применительно к его умственному уровню. Он убеждает себя, что веры у него если и не очень уж много, то все же хватит на переходный период. Эту веру он обосновывает анализом исторического прошлого. Но чем старательнее он ее обосновывает, тем яснее становится ее внерелигиозный характер. Как мы увидим ниже, его умолчания доказывают это еще убедительнее, чем его доводы. Все его фразы: «бог говорит», «бог приказывает», которые его наивные последователи принимали за откровения нового Мессии, по существу дела — только ораторские приемы. Если мы именно так отнесемся к ним, общий характер его «вероучения» станет для нас гораздо яснее, а многие противоречия окажутся не логическим промахом, а чисто словесным недоразумением.



Титульный лист «Индустриальной системы» 1821

«Новое христианство» СенСимон начинает с заявления: «Я верю в бога». В какого именно бога, — он не поясняет: может быть, в иудейского Иегову, может быть в «бога-природу» (deus sive natura) Спинозы, может быть, в безличную Нирвану буддистов, может быть, в «первый двигатель» Леонардо да Винчи. На протяжении всей книги сен-симоновский бог остается великим неизвестным, которое чрезвычайно удобно в том отношении, что оно с одной стороны обезоруживает консервативно настроенных читателей, а с другой — ни к чему не обязывает автора. Но

главная его заслуга — это то, что оно избавляет от необходимости рассматривать вопрос о происхождении «духовного фактора истории» — морали: мораль дана людям самим богом, — это значит, что об ее исторических корнях не подобает спрашивать.

«Бог неизбежно должен был все соотнести с одним и тем же принципом и все вывести из одного и того же принципа, ибо в противном случае воля его по отношению к людям не была бы систематической. Утверждать, что всемогущий основал религию на нескольких принципах, было бы кощунством.

Согласно этому принципу, который бог дал людям в качестве правила поведения, они должны организовать общество способом, наиболее выгодным для наибольшего их числа; во всех их работах и действиях целью их должно быть возможно более быстрое и возможно более полное улучшение морального и физического существования самого многочисленного класса. В этом, и только в этом, заключается божественный элемент христианской религии» («Новое христианство», т. VII, стр. 109).

Итак, суть христианства — это христианская мораль. Но мораль есть определенная система отношений между людьми, — следовательно, она неизбежно должна меняться по мере того, как меняются сами люди. Божественная, сверхземная по своему происхождению, она совершенно земная и вполне человеческая в своих реальных проявлениях. А ее реальное проявление — это церковь, предписывающая верующим известные правила поведения и на основании этих правил определяющая свое собственное устройство. Поэтому в процессе исторического развития церковь испытывала ряд перемен, соответствовавших тем задачам, которые выдвигались на очередь в различные эпохи. В каждую эпоху ее деятельность, ее организация, ее средства воздействия, ее социально-политические цели были иными, в зависимости от той обстановки, в которой приходилось практически осуществлять христианскую заповедь любви к ближнему.

Прошлое церкви можно разделить на три периода — период первоначального христианства, период католического средневековья (по XIV век включительно) и период современный, начавшийся с Лютера. Уяснив себе ее постепенную эволюцию, мы уясним и те формы, которые она должна принять в переходный момент, предшествующий полному осуществлению индустриального строя.

«Я верю, что бог сам основал христианскую церковь; я отношусь с величайшим уважением и восторгом к повелению отцов этой церкви.

Вожди первоначальной церкви проповедовали всем народам единение, убеждали их жить в мире друг с другом и напрямик, с величайшей энергией говорили могущественным людям, что первый их долг — употреблять все свои средства на возможно более быстрое улучшение морального и физического существования бедняков» («Новое христианство», т. VII, стр. 110).

Католическое духовенство средних веков продолжало дело отцов церкви. Оно боролось со злоупотреблениями светской власти, не признававшей никакого иного права, кроме права сильного. Оно выдвигало на руководящие церковные посты людей из простого народа и таким образом открывало дорогу талантам, не считаясь с их социальным происхождением. Оно служило делу просвещения и было величайшей культурной силой той эпохи. Словом, заповедь о любви к ближнему и об улучшении участи народных масс оно распространило на чрезвычайно широкую область общественных отношений. Но постепенно оно отходит от этих задач, и католицизм принимает совершенно иной облик.

«В конце XIV века святая коллегия (кардиналы, руководившие политикой папского престола. — Ст. В.) становится на другой путь; она отказывается от христианского руководства и усваивает себе вполне светскую политику; духовная власть перестает бороться со светской; она уже не идет заодно с низшими классами общества, не пытается подчинять аристократию рождению аристократии талантов и ставит своей главной целью сохранить влияние и богатства, приобретенные воинствующей церковью... Для достижения этой цели святая коллегия отдает себя под покровительство светской власти... и заключает с королями следующий нечестивый договор: «Все наше влияние на верующих мы будем употреблять на то, чтобы обеспечить вам произвольную власть; мы объявим вас королями божией милостью; мы будем вкоренять догму пассивного подчинения властям; мы учредим инквизицию, в лице которой вы получите трибунал, не связанный никакими формальностями; мы учредим новый религиозный орден под названием общества Иисуса. Это общество установит догму, прямо противоположную догме христианства, и поставит своей задачей отстаивать перед богом интересы богатых и сильных в ущерб интересам бедняков.

В вознаграждение за эти услуги, за признание нашей зависимости от вас, за нашу измену бедному классу, интересы и права которого наш божественный основатель заповедал нам защищать, мы просим, чтобы вы сохранили за нами имущество, полученное благодаря апостольским трудам воинствующей церкви» («Новое христианство», т. VII, стр. 135–136).

Прямым результатом этого вырождения, лишившего католическую церковь всякого влияния на массы, явилась проповедь Лютера. Христианская церковь вступила в критический период — в полосу реформ, которые однако не указали ей нового пути и не обновили ее духа.

Как критик католического фанатизма, как защитник права свободного толкования библии, Лютер оказал огромную услугу человечеству. Но его попытки положительных реформ потерпели полный крах. Вместо того, чтобы убедить церковь приняться за разрешение социально-политических проблем в духе основной заповеди христианства, вместо того, чтобы указать ей новые задачи, вытекающие из всего хода развития, он стал проповедовать возвращение к укладу древнехристианских общин и таким образом отдалил церковь от современности; вместо того, чтобы сблизить ее с бедняками, он безоговорочно капитулировал перед светской властью... «Вместо того, чтобы принять необходимые меры для усиления социального значения христианской религии, он возвратил эту религию к ее исходному пункту; он поместил ее вне социальной организации; он признал, что власть Цезаря (светская власть — Ст. В.) является источником всех остальных, и оставил своему духовенству только право смиренных ходатайств перед светской властью... Таким образом он заключил христианскую мораль в те узкие границы, которые состояние тогдашней цивилизации навязывало первым христианам» («Новое христианство», т. VII, стр. 158). Благодаря всем этим ошибкам ни лютеранство, ни другие рационалистические течения, пошедшие по его стопам, не вывели человечество на новый путь. Отдалившись от своей главной и единственной задачи — облегчения участи бедняков, — христианство выродилось во множество сект, более или менее многочисленных, или, лучше сказать, в ряд ересей, не имеющих ничего общего с моральным учением Иисуса. Возвратить его к первоисточнику и в то же время приспособить деятельность церкви к нуждам современности, — такова цель того нового религиозного учения, которое несет людям СенСимон. Он характеризует его следующими словами.

«Новое христианство, подобно еретическим ассоциациям (т. е. католичеству и протестанству — Ст. В.) будет иметь свою мораль, свой культ, и свою догму; у него будет свое духовенство, а у духовенства — свои вожди. Но несмотря на это организационное сходство, новое христианство будет очищено от всех современных ересей; моральная доктрина будет считаться новыми христианами наиболее важной частью учения, а культ и догма будут рассматриваться только как внешние подробности, главная цель которых — сосредоточить на морали внимание верующих всех

классов.

В новом христианстве вся мораль будет выводиться из принципа: «по отношению друг к другу люди должны вести себя как братья», и этот принцип, свойственный первоначальному христианству, будет преобразен таким образом, что в настоящее время он будет представляться целью всех религиозных работ.

Этот возрожденный принцип будет гласить следующее: *«Религия должна направлять общество к великой цели — возможно более быстрому улучшению положения наиболее бедного класса».*

Основатели нового христианства и вожди новой церкви — это люди, наиболее способные содействовать своей деятельностью повышению благосостояния самого бедного класса. Функции нового духовенства сведутся к обучению людей новой христианской доктрине, над усовершенствованием которой будут неустанно работать вожди церкви» («Новое христианство», т. VII, стр. 116–117).

Чтобы основать новую церковь, не нужно быть непременно сенсимонистом. Это может сделать даже сам папа, если он правильно поймет задачи христианства и дух времени. А дух времени требует, чтобы вождь христианства давал работу безработным, обращал пустыни в плодородные поля, проводил хорошие каналы и дороги. Другими словами, папе предлагается перечислиться в сельскохозяйственное ведомство и назначать кардиналами инженеров. Именно к этому и сводится смысл той речи, в которой СенСимон, обращаясь к папе, излагает план реформы католицизма:

«Общая цель, о которой вы должны говорить людям, это — улучшение морального и физического существования наиболее многочисленного класса общества, и вы должны создать социальную организацию, которая лучше всего способствовала бы этой отрасли деятельности и дала бы ей перевес над всеми прочими... Чтобы как можно скорее улучшить существование наиболее бедного класса, всего лучше было бы создать такую обстановку, при которой имеется много работ, требующих наибольшего развития человеческого ума. Вы можете создать эту обстановку: поручите ученым, художникам и индустриалам разработать план работ, максимально повышающих производительность принадлежащих человечеству территорий и делающих их наиболее приятными для жизни... Это огромное изобилие работы будет больше содействовать улучшению жизни бедного класса, чем самая обильная милостыня. Таким образом богатые, вместо того, чтобы истощать свои средства денежными пожертвованиями, обогатятся вместе с бедными...

...До настоящего времени духовенство предлагало верующим посвятить всю свою жизнь одной метафизической цели: достижению небесного рая. Результатом этого было то, что духовные лица получили совершенно произвольную власть, которой они злоупотребляли самым странным и нелепым образом... Такое поведение духовенства могло иметь место и должно было иметь место в эпоху детства религии; но ныне, когда наши идеи на этот счет выяснились и уточнились, продолжение подобных мистификаций было бы позорно для римской курии. Конечно, все христиане стремятся к вечной жизни, но единственный способ получить ее заключается в том, чтобы в течение этой жизни трудиться над увеличением благополучия человеческого рода». («Новое христианство», т. VII, стр. 152–154).

Папа должен объединиться с представителями науки, искусства и промышленности. «Благодаря этому объединению, вы скоро и без больших трудностей организуете род человеческий способом, наиболее благоприятным для улучшения физического и морального существования наиболее многочисленного класса. Благодаря этому власть Цезаря, нечестивая по своему происхождению и по своим претензиям, будет окончательно уничтожена» («Новое христианство», т. VII, стр. 155).

Если папа и представители протестантских вероучений не послушаются этого призыва, религия преобразуется помимо них, и на развалинах старых догм возникнет «новое христианство» Сен-Симона. «Я взял на себя задачу восстановить христианство, омоловив его; я стремлюсь к тому, чтобы эту религию (филантропическую по преимуществу) подвергнуть очищению, которое освободит ее от всех бесполезных и суеверных верований и приемов.

Новое христианство призвано обеспечить торжество принципам общей морали в ее борьбе с кликами (*combinaisons*), стремящимися к личной выгоде за счет выгод общественных; эта омоложенная религия обеспечит всем народам вечный мир, объединив всех их в общий союз против всякой нации, которая захотела бы добиться благ для себя к ущербу для общего блага человечества, и направляя их все против всякого антихристианского правительства, приносящего национальные интересы в жертву частным интересам правителей. Эта религия призвана объединить ученых, художников и индустриалов и сделать их общими руководителями человечества... Наконец, она призвана предать проклятию теологию и объявить нечестивой всякую доктрину, которая учит людей добиваться вечной жизни иными способами, кроме напряженнейшей работы для улучшения существования их ближних» («Новое христианство», т. VII, стр.

164).

Каков же культ этой «омоложенной» религии?

«В настоящее время на культ следует смотреть только как на средство обращать в дни отдыха внимание людей на филантропические мысли и чувства, а догма должна рассматриваться только как сборник пояснительных толкований, имеющих целью на практике применять эти мысли и чувства к великим политическим событиям, которые могут случиться, а равно и облегчать верующим применение морали в их повседневных взаимоотношениях» («Новое христианство», т. VII, стр. 166, 177).

Культ должен полностью использовать в своих целях искусство: «Чтобы произвести (на верующих) наиболее сильное и наиболее полезное действие, нужно сочетать все средства и все ресурсы, которыми располагает искусство» («Новое христианство», т. VII, стр. 160).

Итак, религия целиком сводится к морали. В этом и состоит то «очищение», о котором говорит СенСимон. Но как быть с другой стороной христианства, выдвигаемой в Евангелии на первый план и вменяющей в обязанность человеку «любовь к богу» и устремление к «царству небесному»? Казалось бы, на этот вопрос не может не ответить философ, желающий вскрыть сущность христианской религии. Ведь в этом — корень религиозной проблемы, без выяснения которого непонятны фиваидские отшельники, Франциски Ассизские и многие другие явления религиозной истории. Тут нужно ясно сказать «да» или «нет», нужно или отринуть эту мистическую сторону христианства, как иллюзию, и объяснить ее возникновение определенными, чисто земными причинами, или наоборот признать ее и уделить ей соответствующее место в религиозной догме. СенСимон не делает ни первого, ни второго. Он просто проходит мимо нее. Его бог появляется на сцене только однажды: он внушает Иисусу заповедь любви к ближнему и заботу об участи бедняка, а затем стыдливо удаляется за кулисы мироздания. Что он делал до этого — неизвестно; что он делал после этого — неизвестно; но зато доподлинно известно, что после пришествия Сен-Симона и провозглашения нового евангелия делать ему на земле больше нечего.

Это умолчание по основному вопросу лучше всего характеризует всю суть сен-симоновской религии. В мышлении Сен-Симона бог и «вечная жизнь» не умещаются, — они не только не рождают в нем никакого отклика, но даже не возбуждают теоретического интереса. Он лично совсем не склонен заниматься этими лишними и ни для кого ненужными темами. Но раз уж о них говорят, — их приходится упомянуть вскользь, так, чтобы

они не мешали общим построениям. Их нужно так вдвинуть в систему морали, чтобы они с одной стороны не отвлекали людей от практической деятельности, а с другой — усиливали авторитет моральных заповедей, облакая их ореолом божественного откровения. Если отсталые люди, — а их сейчас большинство, — могут пещись о меньшем брате только по приказу сверхчувственного икса, — было бы неумно отказываться от этого козыря.

Но зачем Сен-Симону понадобилось козырять картой, на которой вместо туза стоит неопределенного вида клякса? Ведь за такие штуки даже в игорных домах выводят из зала, и дают нехорошие прозвища. Сен-Симон идет на это по очень простой причине, — у него не хватает козырей. Он не без внутренних опасений посматривает на «выдающихся индустриалов», которым он вверил попечение о «самом бедном и самом многочисленном классе». Хотя он до точности разъяснил им, что собственные экономические интересы обязывают их к филантропии, он знает, что не всегда и не всеми эти советы будут приняты к исполнению. Многие могут в них усомниться, многие могут истолковать свои интересы совсем не в пользу «многочисленного класса». А если таких «индустриалов» окажется большинство, что станется тогда с главной целью предлагаемой им реформы и не развеются ли, как дым, мечты о благоденствии бедняков? Вот в таком-то случае и пригодится мораль, которая будет действовать еще сильнее, если ее назвать «религией». Это — козырь про запас, далеко не лишней на первых порах «индустриального строя».

Философский дуализм и поиски высшего авторитета, который мог бы смягчить эгоизм правящих классов, — вот теоретические и практические побуждения, заставившие Сен-Симона увенчать свою «индустриальную систему» «новым христианством». Увенчание это не внесло в его теорию ничего кроме путаницы. Людей революционно настроенных оно оттолкнуло, а ближайших его учеников — Родрига, Базара и Анфантена — отвлекло от разработки историко-философских построений, развитых в его предыдущих трудах, и завело на путь крикливой, слащавой и бесплодной религиозной проповеди. Неудачный конец они приняли за плодотворное начало, закат — за восход, и то, что для самого Сен-Симона было уступкой духу времени, провозгласили исходным пунктом нового вероучения.

Разумеется, дело тут не в одних только личных настроениях Сен-Симона и его учеников. Религиозный элемент появился в сен-симоновской системе не только в силу теоретических соображений, но и под влиянием общественной обстановки того времени, выдвинувшей на сцену новые социальные слои и пробудившей новые идейные течения. Каковы были эти

слои и чем объяснялось их тяготение к религии, — мы увидим в следующей главе.

Сен-симонистская секта

Последние годы жизни Сен-Симона и первые годы деятельности его учеников совпали с периодом пышного расцвета французской промышленности и отчасти сельского хозяйства. Отдохнув от непрерывных войн, страна принялась за восстановление расшатанной экономики и в небольшой промежуток времени наверстала все свои потери. Насколько быстро шел процесс восстановления, показывают подсчеты, сделанные выдающимся французским статистиком того времени Шарлем Дюпенем: за промежуток с 1818 до 1827 года, — т. е. за 9 лет, — Франция покрыла шесть миллиардов военных расходов, понесенных с 1803 до 1815 года, 1 500 млн. убытков, причиненных неприятельскими вторжениями, и 1 500 млн. контрибуции, уплаченной победителям.

В области промышленности происходила дальнейшая механизация предприятий, начавшаяся еще в предыдущий период, но развивавшаяся особенно усиленным темпом, начиная с 20-х годов. Предприниматели наперебой выписывают из Англии или добывают путем контрабанды паровые машины (некоторые паровые машины английское правительство воспретило вывозить из страны, и их отдельные части приходилось перевозить во Францию тайком). Французских механиков, умеющих управляться с этими новыми изобретениями, не хватает, и из Англии выписывают мастеров и инженеров, которых в 1825 году числится около 1 400 человек. Возникает мало-помалу собственная машиностроительная промышленность, сосредоточивающаяся в металлургических округах Арденн и Эльзаса.

В 1825 году литейных и железоделательных заводов числится уже около 250. Текстильная промышленность перестраивается по образцу английской. В Лилле, Руане, Сен-Кентене строятся большие хлопчатобумажные фабрики, в районах Эльбефа, Каркассона, Лувье, Седана широко развивается шерстоткацкая промышленность. Эти отрасли национальной индустрии не могут, однако, угнаться за английскими фабрикантами, всецело господствующими на мировом рынке, и вынуждены ограничиться одной Францией.

Зато шелковая промышленность, сосредоточивающаяся главным образом в Лионе и его окрестностях, не знает себе соперников: в ней почти повсюду введен ткацкий станок Жакара, во много раз удешевляющий производство узорчатых тканей, и на рынках Европы французские

шелковые материи пользуются фактической монополией. Промышленное предпринимательство настолько захватило имущие классы, что за него берутся не только рантье и богатые землевладельцы, но и наполеоновские генералы вроде Пажоля и Мармона.

Процесс индустриализации приводит с одной стороны к большому росту промежуточных социальных групп (технической интеллигенции), начавшемуся еще в наполеоновский период, с другой — к образованию многочисленного индустриального пролетариата и к дальнейшему обострению социальных противоречий. Эти сдвиги отражаются и на литературе того времени, как политической, так и художественной, но они еще недостаточно велики, чтобы заставить писателей дать четкие и ясные ответы на поставленные жизнью вопросы. Пролетариат еще не дорос до настоящего классового самосознания, не понял непроходимой пропасти, отделяющей его от буржуазии, не выдвинул своих собственных классовых вождей, а радикальная мелкобуржуазная интеллигенция, претендующая на роль его воспитателя, не идет дальше сетований и чувствительных увещаний по адресу богачей.

Расплывчатость чувств, недоговоренность мыслей диктуются этой технической интеллигенции всей обстановкой ее существования. Не забудем, что в этот период большинство инженеров, врачей, техников выходит из зажиточных буржуазных семей, живущих на проценты с капитала или на доходы с промышленных предприятий. С буржуазией они скреплены экономической связью, которую не в силах разорвать никакие идеалистические порывы. С другой стороны, даже те из них, которые не имеют собственных сколько-нибудь значительных средств, надеются со временем «выйти в люди» и стать если не владельцами фабрики или завода, то хотя бы одним из пайщиков. Но это — в будущем. А в настоящем — тяжелая лямка повседневных обязанностей, борьба за карьеру, столкновения с хозяевами, наглядные уроки, показывающие всевластие капитала и бесправие труда.

Традиции прошлого и надежды на будущее тянут в одну сторону, действительность сегодняшнего дня — в другую. Возникают мучительные внутренние противоречия, которые не могут найти разрешения ни в какой реальной социально-политической программе, ибо реальная жизнь знает только два последовательных мировоззрения — мировоззрение собственника и мировоззрение пролетария, промежуточные же группы не могут полностью усвоить ни первого, ни второго. Остается надеяться только на то, что какая-то сила, стоящая над действительностью, укажет выход и произнесет спасающее слово. И сила эта — религия.

Но и из этого решения — вернее, из этой мечты — французская буржуазная интеллигенция 30-х годов не может сделать практических выводов. Людям XV века легко было идти в монастыри, раздавать имение нищим, часами простаивать на коленях перед статуей Мадонны, ждать чудес и откровений. Попробуйте-ка сделать это теперь, когда за плечами — Вольтер, Французская революция, целое поколение скептиков и атеистов! Нет, старая религия не даст утешения людям, у которых колени разучились гнуться, а мысль не в силах принять без критики древние заповеди. Нужна новая религия, не противоречащая ни электрическим приборам господина Араго, ни железным дорогам, и в то же время смягчающая эгоизм и конкуренцию, преодолевающая духовным воздействием закоренелую жадность собственника...

Судьба этой группы и тяготеющих к ней «филантропов» из крупной буржуазии — останавливаться во всех вопросах на полдороге, уклоняться от смелых решений и вечно искать компромиссов, скрашивая робость мысли обманчивым блеском фраз. Сочетание бездеятельности с чувствительностью характерно для всех почти поэтов и мыслителей этого периода. Томная усталость, мировая тоска, культ интимных настроений, беспредметные порывы ввысь, идущие рука об руку с холодной расчетливостью, недовольство верхами и боязнь низов — таков духовный облик этого поколения, столь блестяще охарактеризованного в воспоминаниях Альфреда Мюссе. Слащавый Ламартин, роняющий слезу по каждому случаю, — кумир интеллигентной молодежи. Лишь в конце 20-х годов, накануне революции 1830 года, его затмевает бурно-пламенный Виктор Гюго, мастер героической позы, но столь же неопределенный и туманный по части идей, как и его предшественник.

А между тем перед этой нерешительной, мятущейся буржуазной интеллигенцией поставлен ряд проблем, и политических, и социальных. Речи парламентских либералов не вразумляют Бурбонскую династию. Власть попрежнему остается в руках старой аристократии. Ропот усиливается, антиправительственное настроение охватывает и город, и деревню: страна все быстрее и быстрее катится к революционной пропасти, на дне которой уже вырисовывается пугающий лик пролетариата. Из его рядов уже и сейчас выходят наиболее решительные заговорщики и члены тайных обществ. Не повторит ли он 1793 год? Чьи головы будет он на этот раз носить на пиках? И как успокоить его гнев? «Заласкайте его», — советуют филантропы вроде Босежура и Ларошфуко. «Заставьте его склониться перед волей бога, но истолкуйте ее в духе обновленного католицизма», — советуют де Местер, Бональд, Шатобриан.

В области житейской практики — филантропия, в области философских исканий — религия. Вот лозунги, которые напрашиваются сами собой у буржуазной интеллигенции того периода. В этом же направлении, подчиняясь духу времени, идут и ученики Сен-Симона.

Мы уже указывали, что сен-симоновская философия истории, глубокая и плодотворная по своим основным тезисам, при своем применении к отдельным вопросам проявляла величайшую внутреннюю двойственность и разрывала бытие на две равноправные и независимые друг от друга половины — область материальную и область духовную. В ее дальнейшем развитии оба эти элемента неизбежно должны были окончательно оторваться один от другого и положить начало двум различным мировоззрениям, одно из которых обосновывало свои выводы положительной наукой, другое — религией. Представителем первого направления был Конт, представителями второго — ближайшие ученики Сен-Симона — Олинд, Родриг, Анфантен и Базар.

Некоторое время после смерти учителя все они держались вместе. Был основан журнал «Производитель», который должен был истолковывать и разрабатывать идеи Сен-Симона. Политические и философские статьи писал Конт, экономические — Анфантен (1796–1864). Конт развивал там основные мысли своей «положительной философии», разделявшей всю историю человечества на три периода: период теологический, когда человечество жило целиком под властью религиозных идей, период метафизический, когда оно пыталось осознать явления жизни с помощью отвлеченных рассудочных построений, и период положительный, когда и теорию и практику оно начало выводить из доказанных опытом научных истин. Но эти положения еще не были додуманы им до конца и не вступали в конфликт с настроениями прочих сотрудников.

Анфантен был слишком занят социально-экономическими вопросами, чтобы уделять много внимания уклонам своего сотоварища по журналу, и предпочитал углублять теории Смита и Рикардо. Характерно, между прочим, что уже в этот начальный период своей деятельности он нащупал главный нерв социального вопроса — теорию стоимости. Раз ценность всех вещей основана на труде, — говорил он, — и раз рабочий не получает полного эквивалента за этот потраченный им труд, то это значит, что «рабочие платят некоторым людям за то, что те пребывают в бездействии». Социальные выводы из этой мысли он сделал впоследствии.

«Производитель» успеха не имел и в конце 1826 года перестал выходить. Но сенсимонисты не разошлись. Центром их был «ипотечный банк», где Родриг занимал должность директора, а Анфантен — кассира. К

ним присоединились Эжен Родриг, брат Олинда Родрига, финансисты Эмиль Перейра и Исаак Перейра и Базар, один из основателей французского революционного тайного общества карбонариев, стремившегося к низвержению Бурбонской династии и учреждению республики. Пропаганду они вели главным образом среди учащейся молодежи, буржуазного общества и отчасти в военных кругах.

Социальный состав сен-симонистской группы заранее predetermined то направление, по которому должно было пойти дальнейшее развитие ее теорий.

Все руководящие сенсимонисты — люди богатые или во всяком случае обеспеченные. Они непосредственно связаны с коммерческим миром, ведут крупные финансовые операции и превыше всего почитают спокойствие и порядок. Революция, откуда бы она ни исходила, страшит их, и реформы Сен-Симона увлекают их потому, что они сулят «избавление от всех насильственных переворотов». Стоять во главе государства и мирно законодательствовать, не боясь ни аристократов, поверженных во прах, ни рабочих, обезоруженных хорошими заработками и филантропическими подачками, — это ли не завидная судьба?

А у ловких дельцов, вроде братьев Перейра, симпатии к сенсимонизму подкрепляются, вероятно, и чисто личными соображениями. Сенсимонизм — хорошая реклама. Банкир-филантроп, выдающий ссуды под залог недвижимости исключительно из любви к человечеству, — явление довольно редкое в нашем грешном мире. К такому банкиру клиенты побегут толпами, если их удастся убедить в благородстве его стремлений. Ради этих будущих благ можно пойти на кое-какие жертвы в настоящем.

Аудитория сенсимонистов — буржуазная интеллигентная молодежь. Среди нее есть и художники, и музыканты, и артиллерийские офицеры, но больше всего воспитанников Политехнической школы. Она недовольна политическим строем, она требует реформ и мечется между либералами вроде Бенжамена Констана и революционерами-заговорщиками. Наиболее вдумчивые несмело тянутся к пролетариату, но их отпугивают разговоры о заработной плате, грубые манеры, мечты о социальном равенстве, скрытое, но то и дело прорывающееся недоверие бедняка к богачу. Эти люди не из их лагеря. С другой стороны, нельзя пойти и в стан богатых политиканов, неспособных ни к чему, кроме оппозиционной воркотни. Нужно что-то среднее, нужна либеральная политика под социальным соусом, нужна программа, обещающая сносное существование и видное общественное положение ученым, художникам, инженерам и в то же время не вполне забывающая об интересах «меньшого брата». Эту-то программу и

развернули сенсимонисты. Естественно, что к ним потянулись промежуточные социальные слои, внося в сен-симонистскую секту все свойственные им черты — половинчатый радикализм, переменчивость политических настроений, туманную сентиментальность, робкую филантропию.

Это не значит, что конечные цели этих слоев должны были быть столь же робкими и жалкими, как их практическое поведение... Как мы увидим ниже, сенсимонисты выдвинули программу, куда более широкую и радикальную, чем программа их учителя и платформы самых левых, существовавших тогда политических партий: они говорили об отмене частной собственности на орудия производства, о замене иерархии богатства иерархией труда, об уничтожении всех видов эксплуатации, о раскрепощении женщины. Конечные цели сенсимонистов пленяли смелостью и безграничностью открываемых ими перспектив. Но все это мыслилось в далеком будущем. А дорога, которая к нему вела, сводилась к мелким реформам, к филантропической помощи беднякам, к мирной пропаганде, к воздержанию от всякого насилия, к прогрессу без революций, к сотрудничеству всех общественных классов. Так предстояло идти долгие десятилетия, может быть, столетия, воздерживаясь от всякой попытки подтолкнуть медлительную историю. И прогулка эта была столь же приятна и безопасна, сколь пленительна была ее конечная цель. Цель волновала воображение, способ ее осуществления разгонял страхи перед завтрашним днем. Естественно, что этому двойному очарованию не могли поддаваться широкие круги буржуазной интеллигенции.

После прекращения «Производителя» сен-симонистская секта, — вернее, пока еще кружок — переходит к широкой устной пропаганде. На квартирах вожаков (главным образом Анфантена) устраиваются довольно многочисленные собрания и в то же время в тесном кругу идут бесконечные прения об основных вопросах сен-симоновской теории. Религиозное направление берет верх, и Конт окончательно уходит. Анфантен, Базар и Родриг подпадают под влияние де Местра и все свое внимание посвящают выработке «нового общего учения» (т. е. новой религии).



Карикатура на сенсимонизм. Слева — рыцарь ордена храмовников; в центре — «отец» Анфантен; справа — французский священник

Одновременно с этим разрабатывается организационная сторона нового культа. «Верующие» — так отныне называют себя сенсимонисты — признают главенство «отцов» и разделяются на две, а потом на четыре «степени», причем низшая степень, в подражание католическому образцу, делится на «верных» и «оглашенных» (т. е. подготавливающих). «Отцы», то есть основатели секты, подчиняются трем верховным руководителям: Анфантену, Базару и Родригу, из которых первый приобретает все большее и большее влияние, а последний постепенно оттесняется на задний план. Нечего и говорить, что все это сопровождается немалыми трениями внутри общины. Многие из сенсимонистов не желают из «философов» превращаться в «верующих» и отходят от «отцов». Но «отцы» не смущаются и продолжают вести свою паству по той же дороге.

В результате двухлетних публичных собеседований появляется несколькими выпусками книга Базара «Изложение сен-симонистской доктрины» (от 1829 до 1830 г.). Идеи Сен-Симона подверглись здесь существенной переработке. Вместо «индустриализма» первое место отведено религии, «духовное» начало окончательно возобладавало над «материальным»; фабриканты, купцы, инженеры, ученые и художники отданы под опеку «первосвященника». Словом, все то, что было для Сен-Симона уступкой духу времени, для его последователей стало исходным пунктом учения. Основные мысли этой книги следующие: «Вся история человечества делится на два периода, поочередно сменяющие друг друга: период органический и период критический. Человеческие общества в их развитии вплоть до нынешнего времени поочередно проходили через две

эпохи, которым мы дали название эпох органических и эпох критических. Все органические эпохи отличаются одними и теми же общими чертами, равно как и эпохи критические. В первые (органические) эпохи человечество намечает для себя известное направление, и это придает социальной деятельности определенную тенденцию. Воспитание и законодательство все действия, все мысли и все чувства соотносят с общей целью; социальная иерархия делается выражением этой цели и регулируется наиболее благоприятным для этой цели образом. Власть обладает тогда суверенностью и законностью в подлинном смысле этих слов. Кроме того, органические эпохи обладают еще одной общей чертой, господствующей над всеми их частными особенностями: они — религиозные эпохи. Религия является тогда синтезом всей человеческой деятельности, как индивидуальной, так и социальной.

Критические эпохи, начинающиеся тогда, когда исчерпана идея, лежавшая в основе органической эпохи, отличаются совершенно противоположными чертами. В это время человечество не думает о своем назначении; у общества нет уже определенной цели; воспитание и законодательство неясно определяют свою задачу; они находятся в противоречии с нравами, привычками, потребностями общества; общественные власти не являются выражением реальной социальной иерархии; они лишены всякого авторитета, и у них оспаривается право даже на ту слабую деятельность, которую они продолжают проявлять; наконец, над всеми этими частичными фактами господствует один общий факт: эти эпохи суть эпохи безрелигиозные.

Критические эпохи в свою очередь подразделяются на два различных периода. В первом, начинающем их, люди, принадлежащие к наиболее важной части общества, объединяются вокруг одной и той же задачи и действия их согласуются с одной и той же целью, которая сводится к свержению старого морального и политического строя. Во втором периоде, который представляет собою промежуток между разрушением и восстановлением, не заметно уже ни общих целей, ни общих начинаний: все разлагается на отдельные индивидуальности, и эгоизм господствует над всем» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 155–157).

Последняя критическая эпоха, начавшаяся с XVI века, завершилась Французской революцией. В настоящее время начинается новая органическая эпоха, неизбежно приводящая к возникновению новой религии и к подчинению этой последней всех сторон человеческой жизни. «Если всякая органическая эпоха есть религиозная эпоха, если религия

включает в свою догму все понятия человека, все формы его бытия, если она является социальным синтезом, то очевидно, что, раз согласившись с этой мыслью, мы должны выводим из принимаемой нами религиозной догмы все будущее и все заключающиеся в нем факты» («Изложение сен-симонистской доктрины»), т. XLII, стр. 173).

«Религия будущего будет более великой и более могущественной, чем какая бы то ни было из религий прошлого; ее догма будет синтезом всех понятий, всех сторон жизни человека; социально-политический строй, рассматриваемый в своей совокупности, будет строем религиозным» («Изложение сен-симонистской доктрины»), т. XLII, стр. 172–173).

Эта религия признает руководящим началом вселенной бога, который понимается как бесконечная воля, направляемая бесконечной любовью. «Со всех сторон, в центре мира и на его окружности, человеку раскрываются любовь, мудрость и сила, превосходящие его собственную любовь, мудрость и силу и представляющие собою бесконечное бытие, провидение, бога» («Изложение сен-симонистской доктрины»), т. XVIII, стр. 318).

Бог проявляется во всей вселенной и в человеке. А раз так, то назначение всякого бытия, и человека в том числе, заключается в том, чтобы как можно полнее раскрывать сущность божественного начала — любовь, мудрость и силу. «Этим предугадываются для будущего три различных категории деятельности: мораль, соответствующая любви; наука, соответствующая разуму; индустрия, соответствующая силе. Итак, политическая организация имеет своей целью регулирование моральной, научной и индустриальной деятельности; социальная иерархия может быть только живым осуществлением этого регулирования» («Изложение сен-симонистской доктрины»), т. XLII, стр. 334–335).

Объединяющим началом жизни является любовь. Следовательно, в социальной организации будущего первое место должно принадлежать выразителю этого начала, священнику. «Любовь, говорили мы, это жизнь в своем единстве; разум и сила являются только формами ее проявления. Всякое познание и всякое действие или, если хотите, всякая теория и всякая практика, исходят из любви и возвращаются к ней: она одновременно и источник, и связь, и цель. Люди, в которых любовь господствует надо всем... естественно являются вождями общества, а так как любовь охватывает и конечное, и бесконечное, так как она всегда ищет бога, то... из этого следует, что вождями общества могут быть только хранители религии, священники» («Изложение сен-симонистской доктрины»), т. XLII, стр. 335).

Внешним культом религии является *человеческий труд*. «Цель индустрии заключается в эксплуатации земного шара, т. е. в приспособлении его продуктов к потребностям человека; а так как при исполнении этой задачи она (индустрия) видоизменяет и преобразует землю и постепенно меняет условия существования человека, то отсюда следует, что благодаря ей человек участвует в постепенных проявлениях божества и таким образом продолжает дело творения. С этой точки зрения *индустрия* становится культом» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 336–337).

Социальная организация принимает таким образом следующий вид.

«Религия или мораль, теология или наука, культ или индустрия, — таковы три великих стороны социальной деятельности будущего. Священники, ученые, индустриалы, — вот что такое общество.

Подобно тому как священник представляет единство жизни, он представляет также и социальное и политическое единство. Ученый и индустриал в его глазах равны, ибо оба они получают от него свою миссию и свое вдохновение. И наука, и индустрия имеют иерархию, свойственную им, но каждая из этих иерархий непосредственно восходит к священнику. Она учреждается им и только в нем находит свою санкцию. Священник — это связь между всеми людьми; он же связывает конечное с бесконечным, приводит социальное устройство в гармонию с устройством всемирным и, если можно так выразиться, связывает человеческую иерархию с божественной иерархией» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 337).

Чтобы осуществить это социальное устройство, нужно принудительную государственную организацию заменить свободной ассоциацией, где положение человека определяется не его богатством, а его способностями.

«При новом, подготовляющемся ныне порядке эксплуатация земного шара является единственной целью материальной деятельности человечества; эта эксплуатация... принимает форму индустриальной ассоциации. Но, чтобы эта ассоциация осуществилась и принесла все свои плоды, необходимо, чтобы она представляла собою иерархию и чтобы некая общая точка зрения руководила всеми работами и приводила их в гармонию. Цель, которую в данном случае нужно достичь, заключается с одной стороны в том, чтобы всюду и во всех отраслях промышленности согласовать производство с нуждами потребления, а с другой — распределять отдельных людей между мастерскими сообразно природе и величине их способностей, так, чтобы работы выполнялись наивозможно

лучшим образом и при наименьших издержках» («Изложение сексимонистской доктрины», т. XLII, стр. 164–165).

«Это изменение не подразумевает общности имущества, которое было бы не менее несправедливо и не менее насильственно, чем существующий ныне насильственный способ распределения; так как способности индивидуумов очень различны, то равное распределение богатств между ними противоречило бы принципу, гласящему, что каждый должен вознаграждаться сообразно своим делам. При предлагаемом нами устройстве всех индивидуумов объединяет только то правило, что единственным обоснованием собственности должен быть труд и что это право на собственность должно приобретаться непосредственно каждым из них, — другими словами, что право семейного наследования должно быть отменено» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 163–164).

Основным условием введения нового строя является уничтожение эксплуатации слабого сильным. «...Эксплуатация слабого сильным есть одна из самых главных и характерных особенностей прошлого... Христианство главным образом в странах, подчиненных католической церкви, уничтожило рабство в собственном смысле слова, но оно не уничтожило эксплуатации человека человеком, наиболее грубой формой которой было рабство. Эта эксплуатация продолжалась в другой форме, которая еще и сейчас во всех европейских обществах страшным гнетом тяготеет над огромным большинством населения; всюду это большинство обречено на нищету, озверение, испорченность, всюду наслаждения привилегированных классов возможны лишь благодаря угнетению этого большинства, всюду, и в монархиях, и в республиках случайность рождения обрекает на это принижение тех, кто от него страдает («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 161–162).

Уничтожение эксплуатации предполагает, как свое условие, отмену собственности на орудия производства.

«Чтобы достичь этой цели, необходимо, чтобы государство владело всеми орудиями труда, которые ныне образуют основной фонд частной собственности, и чтобы руководителями индустриального общества было поручено распределение этих орудий, т. е. та функция, которая ныне столь слепо и за столь дорогую цену выполняется собственниками и капиталистами. Только тогда прекратятся частичные и общие промышленные катастрофы, умножившиеся за последнее время, и только тогда прекратится позорная неограниченная конкуренция, являющаяся по существу ожесточенной и убийственной войной между индивидуумами и

нациями» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 165).

Гармоническое общество будущего положит в основу своей деятельности любовь к людям и природе. Его мораль является дальнейшим расширением и углублением христианской морали. Но это отнюдь не значит, что в своих нравственных воззрениях оно должно пойти по стопам аскетического средневековья, рассматривавшего всякое плотское наслаждение как грех, и материю как зло. Раз руководящим принципом жизни оно признает любовь, оно должно распространить этот принцип на все проявления бытия, следовательно и на духовные, и на материальные его элементы. Чувственные наслаждения в его глазах столь же законны и необходимы, как и высокие духовные порывы. Восстановление прав плоти является неизбежным выводом из главных положений «нового христианства» («Изложение сен-симонистской доктрины», т. XLII, стр. 299–301).

Таковы конечные цели сенсимонистов. Осуществиться они должны на протяжении долгого исторического периода, путем ряда постепенных реформ. Реформы эти — устройство производительных ассоциаций, организация общественного кредита, предоставляющего в распоряжение этих ассоциаций оборотные средства, и наконец отмена права наследования. Все эти предварительные мероприятия могут быть проведены только путем моральной проповеди и мирного воздействия на общественное мнение.

Как мы видим, ученики Сен-Симона в области социальных проблем пошли значительно дальше своего учителя. Они поставили ребром вопрос о собственности на средства производства, — вопрос, который не решился затронуть их учитель. Принцип: «каждый человек должен работать сообразно своим способностям и получать вознаграждение согласно своим делам», — они последовательно применили ко всей области общественных отношений. Но сами, будучи выходцами из буржуазного класса, они не могли понять природы классовой борьбы, ее методов, ее конечных целей. Да и призывали они не к социальной борьбе, а к социальному примирению во имя заповедей высшей религиозной морали. Если конечные цели их доктрины — отмена частной собственности на орудия производства — отпугивали буржуазию, то тактика классового мира была неприемлема для пролетариата, познавшего на практике всю бесплодность моральных средств воздействия. Естественно, что возглавляемое ими движение осталось узкой сектой, нашедшей отклик лишь среди некоторых групп технической интеллигенции и в отдельных, весьма немногочисленных, рабочих кружках.

Что касается сен-симоновских представлений о будущем социальном строе, то ученики просто-напросто перевернули доктрину учителя вверх ногами. У Сен-Симона вдохновляющей и направляющей силой общества были индустриалы, все же остальные играли роль экспертов и исполнителей. У сенсимонистов, наоборот, наверху социальной пирамиды оказался священник, наука превратилась в подсобное, чисто служебное средство, индустрия — в богослужение, мастерская — в храм. Постепенно эта сторона их мировоззрения оттеснила на задний план социальные задачи, и в море слезливой риторики бесследно потонуло все то большое и ценное, что заключалось в их первоначальных построениях.

Накануне июльской революции и в первый послереволюционный год сенсимонисты развивают лихорадочную пропаганду. Они объезжают провинцию, разъезжают по Бельгии, всюду основывают свои центры, а кое-где приступают даже к изданию собственных газет и журналов. Их выступления почти всегда приводят к шумным демонстрациям, дружественным и враждебным, вызывают бешеные нападки духовенства, а иногда — репрессии властей. В большинстве случаев зажиточная буржуазия, на которую они больше всего рассчитывали, держится в стороне, мелкобуржуазная интеллигенция относится с сочувствием и интересом, рабочие проявляют равнодушие. Постепенно вокруг «отцов» создается преданное ядро, жертвующее крупные суммы на пропаганду и охотящееся за душами с большой энергией. В местах, где сенсимонисты только что появляются, они организуют пропагандистские «курсы», в городах с большим числом верующих — «центры», а там, где «верующие» считаются несколькими сотнями, — «церкви». В 1831 году во Франции было шесть сен-симонистских «церквей» и девять «центров».

Сен-симонистская церковь быстро усваивает все внешние черты религиозной общины и в этом отношении все больше и больше приближается к католической. «Верующие» одной и той же степени называют друг друга «братьями и сестрами в Сен-Симоне», «отцы» именуют свою паству «сыновьями» и «дочерьями»; совет старшего должен приниматься младшим, как приказание. На общих собраниях иногда устраиваются публичные исповеди, во время которых каждый должен рассказать без утайки всю свою жизнь и свои прошлые падения. При этом верующие обычно проливают слезы и обмениваются братскими поцелуями (впрочем, объятия и поцелуи в большом ходу у сенсимонистов и в обыденной обстановке). Собрания происходят по определенному ритуалу: сначала верующие высших степеней усаживаются полукругом на эстраде, потом появляются трое «отцов», ведя под ручку очередного проповедника,

потом верующие встают и отвешивают «отцам» низкий поклон, и только после этого начинается собеседование. Чтобы выделить членов сенсимонистской церкви из прочего человеческого стада, им предписывается особый костюм: мужчины носят голубые фраки и белые панталоны, женщины — платья особого покроя.

Постепенно сенсимонисты расширяют круг своей деятельности и начинают вести пропаганду в рабочей среде. Вскоре из рабочих составила уже довольно многочисленная группа, выделенная в особую «степень». Ею ведали жена Базара и инженер Фурнель. Деятельность сенсимонистов в данном случае не ограничилась одними проповедями и пением сенсимонистских гимнов: для рабочих была организована даровая медицинская помощь и устроено несколько рабочих домов с общественными столовыми, а в каждом округе Парижа было назначено по «директору» и «директрисе», которые должны были подавать рабочим советы и выдавать в некоторых случаях денежные пособия. Кроме того, сенсимонистская «церковь» усыновила более двухсот детей и обеспечила им питание и образование.

Начало тридцатых годов — самая счастливая пора сенсимонистского движения. О нем много говорят во Франции, начинают говорить и за границей. Многие иностранцы, деятели литературы и искусства, регулярно посещают сенсимонистские собрания, — в том числе знаменитый композитор Лист и не менее знаменитый поэт Генрих Тейне, посвятивший Анфантену одну из своих книг (впоследствии он снял это посвящение).

Наибольшим успехом секта пользуется в пограничной с Францией Бельгии. В Англии, несмотря на агитационные поездки, секта не нашла приверженцев, но оказала немалое влияние на отдельных писателей. Так например, известный экономист Джон Стюарт Милль в ноябре 1831 года писал Эйхталю, одному из вождей сенсимонистов: «Если сенсимонистское общество уберется от расколов и ересей, если оно будет продолжать пропагандировать свою веру и увеличивать число своих членов так же быстро, как это происходило в течение двух последних лет, тогда для меня сверкнет луч света во тьме. Но даже если этого и не произойдет, то что сделано, не будет потеряно».

Германская пресса, возмущенная нападками сенсимонистов на частную собственность, изображала новую церковь как «сборище разбойников и грабителей»; тем не менее и в Германии у сенсимонизма нашлось несколько последователей, самым крупным из которых был известный социолог Лоренц Штейн. Но если в Германии сенсимонистам не удалось основать ни «церкви», ни «центра», то зато идеи их оказали

немалое влияние на радикальную часть молодой немецкой интеллигенции, из рядов которой вышли впоследствии Маркс и Энгельс.

До июльской революции сенсимонисты вели пропаганду в закрытых собраниях и более или менее замкнутых кружках. Революция дала им возможность выйти на улицу. Но в вооруженной борьбе они непосредственного участия не принимали, считая, что мирная пропаганда более действительное средство, чем баррикады. В дни боев Анфантен предлагал «верующим» соблюдать нейтралитет. Только Базар, увлеченный традициями своего революционного прошлого, в последний день боев пробрался в городскую ратушу к Лафайету и убеждал его временно провозгласить диктатуру для проведения выборов в Учредительное собрание. Лафайет отклонил его предложение. На другой же день после победы революции сенсимонисты расклеили по улицам афиши под заголовком «Сен-симонистская религия», как будто нарочно рассчитанные на то, чтобы раздражить массы, ненавидевшие клерикалов и иезуитов и переводившие слово «религия» словом «контрреволюция».

Еще через два дня Анфантен рассылает по провинциальным центрам циркуляр, рекомендуя «верующим» использовать перемену режима для пропаганды следующих первоочередных реформ: полной свободы вероисповеданий, которая даст возможность беспрепятственно развиваться сен-симонистскому культу, свободы печати, свободы образования, свободы торговли, которая должна облегчить образование промышленных и торговых ассоциаций, полной свободы собраний и отмены института наследственных пэров (аристократы, члены верхней палаты, при Бурбонах получали это звание по наследству).

За отменой наследственного пэрства должна была последовать отмена права наследования. Сами по себе эти реформы не выходили за рамки радикального демократизма, но сенсимонисты подчеркивали, что для них это только средство достижения социальных реформ, намеченных в их программе. В специальной брошюре, выпущенной вскоре после июльских событий, Базар указывал на недостаточность чисто политических мер, предлагаемых либералами, и говорил о необходимости перемены всего общественного строя в духе сен-симонистского учения.

Эти шаги являлись как будто прологом к образованию широкой массовой партии. Но никакой массовой партии не образовалось. Сенсимонисты были не прочь стать учителями и воспитателями пролетариата, но допустить рабочих в лоно своей церкви в качестве полноправных ее членов они вовсе не желали, ибо это противоречило бы всему духу их учения. И потому, обращаясь к рабочим с увещаниями и

наставлениями, они попрежнему главное внимание обращали на буржуазию и буржуазную интеллигенцию, надеясь в этой среде — и только в этой среде — найти вождей и организаторов нового общества.

Одновременно с расширением деятельности секты внутри ее происходили значительные сдвиги, дававшие все больший и больший перевес религиозно настроенным элементам. В 1829 году Олинд Родриг, считавший себя «первоучеником» Сен-Симона, вышел из состава руководящей тройки и в торжественной речи признал верховенство двух «апостолов» — Анфантена и Базара. Вскоре между этими «первоверховными апостолами сенсимонизма» начинаются сначала личные трения и теоретические разногласия, а потом вспыхивает открытая борьба, победителем в которой оказался Анфантен.

Базар и Анфантен — это Петр и Павел сен-симонистской церкви. Базар — несколько тяжеловесный, осторожный, вдумчивый, недурной диалектик и организатор, поклонник строгого семейного уклада, он признает теорию «восстановления прав плоти», но смотрит на нее с опаской и отнюдь не склонен давать ей распространительное толкование: Анфантен — прекрасный оратор, изощренный софист, фанатически уверенный в своей «божественной миссии», до смешного тщеславный вызывающий в мужчинах чувство преклонения, а в женщинах — обожание, нередко переходящее в пылкую влюбленность. Гордый своей действительно недюжинной красотой и успехами среди «слабого пола», увлекающийся и сентиментальный, он как бы специально создан для того, чтобы создать культ чувства и чувственности. А паства его как нельзя более податлива в этом отношении и отнюдь не прочь подменить мечты о преобразении общества планами изменения семейного быта. Естественно, что в споре между двумя первоверховными апостолами за любезным и обаятельным Павлом было заранее обеспечено большинство.



Базар. Литография неизвестного художника (Музей ИМЭЛ)

Яблоком раздора является вопрос об отношениях полов. Мужчина и женщина вполне равноправны, — учит Анфантен, — и потому свобода развода и свобода физического общения неизбежно вытекают из всего строя нового общества. Связь между мужчиной и женщиной основывается исключительно на чувстве, которое нельзя заменить никаким принудительным регулированием. Кроме того, свобода половых отношений вытекает и из экономического строя, предлагаемого сен-симонистами. Единобрачие было до сих пор так крепко потому, что передаваемое по наследству семейное имущество объединяло экономические интересы мужа, жены и детей. Когда право наследования будет отменено, исчезнет экономическая база единобрачия, — следовательно, оно станет социально ненужным! Этот вывод сен-симонистская церковь уже и теперь должна провести на практике, построив на нем интимные взаимоотношения своих членов.

Половой вопрос играет не менее значительную роль и в области иерархии. «Человек — это мужчина и женщина вместе», — говорил СенСимон. Следовательно, наиболее важные, а впоследствии и все общественные функции должны выполняться не единичными личностями,

а парами. Первосвященник — это тоже парное существо, мужчина и женщина вместе. Вначале Анфантен учил, что эта пара объединяется не физическим общением, а исключительно возвышенными переживаниями: первосвященник и его жена слиты воедино, но между ними «стоит стена благоуханий». Впоследствии он отказался от этого аскетического принципа (который, кстати сказать, не имел практического значения, ибо «великой жрицы» все еще не появлялось) и стал учить, что «стену благоуханий» между священником и его паствой следует решительно устранить. Так как плоть и дух равноправны, то в целях более сильного влияния на верующих священник может вступать в физическое общение с женщинами низших степеней; этот способ воздействия должен быть разрешен вообще всем членам высших степеней по отношению к членам низших.

Базар решительно запротестовал против такого истолкования «парного» принципа. Оппозиция оказалась настолько многочисленной, что Анфантен временно отложил решение вопроса, и семейным членам «церкви» было разрешено пребывать в единобрачии.

Но это было только кратковременное перемирие. Вскоре борьба между двумя столпами сенсимонизма вспыхнула с новой силой. Устраиваются чуть не ежедневно закрытые собрания. «Коллегия» просиживает целые ночи напролет, обсуждая полезность единобрачия и необходимость «стены благоуханий». Верующие доходят до изнеможения, до экзальтации. Некоторые падают в обморок, другие бьются в судорогах, третьи объявляют, что на них сошел дух святой, и начинают пророчествовать. Так продолжалось три месяца, пока с Базаром не сделался нервный удар. 11 ноября 1831 года он официально заявил о своем выходе из «церкви».

Вслед за Базаром «церковь» покинули многие влиятельные ее члены — Карно, Фурнель, Пьер Леру (впоследствии известный социалист), Лешевалье. Но большинство все-таки пошло за Анфантенем. Он был объявлен первосвященником и с этого времени стал не только главным, но и единственным вождем сенсимонистов.



Анфантен. Литография Леклэра (Музей ИМЭЛ)

Внутренняя борьба, происходившая в сен-симонистской церкви в течение всего 1831 года, не мешала ей продолжать пропаганду. Пропаганда облегчалась тем обстоятельством, что к сен-симонистам перешла влиятельная ежедневная газета «Земля» (Le Globe), которую вел известный литературный критик Сент-Бёв. Среди сотрудников «Земли» имелось несколько выдающихся публицистов, как например Пьер Леру, Мишель Шевалье и др. «Земля» посвящала свои столбцы не столько характеристике будущего строя и отвлеченным теориям сенсимонизма, сколько ближайшим реформам, которые должны были проложить дорогу новому обществу.

В числе этих реформ были такие: улучшение системы народного образования и введение всеобщего обучения, отмена косвенных налогов и замена их единым прямым прогрессивно-подходящим налогом, отмена привилегий французского государственного банка, учреждение «свободных» банков, мобилизующих средства населения и дающих их в кредит индивидуальным «работникам» и ассоциациям, меры, облегчающие переход земли в руки мелких собственников, уничтожение права наследования для родственников по боковой линии и т. д. Развивая программу всех этих реформ, «Земля» в то же время не примыкала ни к одной из существовавших тогда партий и, объявляя себя «нейтральной»,

хвалила или порицала министров и политических деятелей за отдельные вносимые ими проекты. Этот «нейтралитет» распространялся и на рабочее движение, которое, казалось бы, должно было быть всего ближе сенсимонистам.

Восстание лионских ткачей (1831 г.), вызванное нищетой и безработицей, чрезвычайно ясно показало двойственный облик сенсимонистов. С одной стороны, «Земля» выражала полное сочувствие их лозунгу: «жить, работая, или умереть, сражаясь», и указывала, что рабочие брались за оружие, а буржуазия топила восстание в крови потому, что и тот и другой лагерь были лишены веры, которая дала бы надежду одним и смирила бы алчность других. С другой стороны, сенсимонисты не оказали восставшим никакой активной помощи, даже не устроили сборов в пользу пострадавших. Парижская «коллегия» ограничилась тем, что послала лионским сенсимонистам приказ — проповедывать мир и капиталистам, и рабочим. Этот неосуществимый совет вполне соответствовал всему духу сенсимонистской церкви, которая желала стоять над капиталистами и над рабочими именно потому, что она не вполне доверяла одним и боялась других.

«Земля» не ограничивалась пропагандой политических мероприятий. Верная принципу «все для промышленности и все через промышленность», она выдвигала целый ряд проектов промышленного строительства, уделяя особое внимание улучшению путей сообщения и в частности проведению железных дорог.

В области искусства она тоже проводила «индустриальную» линию, предлагая уничтожить памятники старины, как не соответствующие духу эпохи, и использовать театры исключительно для проповеди новой морали.

После ухода Базара и провозглашения Анфантена единственным главой сенсимонистской церкви, социальные и политические вопросы отступают на второй план. 27 ноября Анфантен в торжественной речи выясняет то новое направление, которое должен принять сенсимонизм. До сих пор, — говорит он, — сенсимонисты занимались главным образом политикой, теперь они должны выдвинуть на первое место мораль. «Узы, соединяющие высшего с низшим, узы семейные, связи мужчины с женщиной, — все это мы постепенно развяжем и свяжем». Вместо рассуждений — деятельность, вместо ученых — апостолы, вместо доктрины — культ, — вот ближайшая программа. Практический смысл ее поясняет тут же Родриг. Культ — это финансовая и промышленная организация, дающая возможность улучшить участь бедняков. Надо создать «моральную власть денег», учредить банк, дающий ссуды рабочим,

собрать средства для организации домов просвещения и домов промышленных и сельскохозяйственных ассоциаций.

Такова была новая ориентация «церкви». Парижских и провинциальных сенсимонистов охватило смущение, усилившееся еще более, когда «отец» объявил, что дети не должны знать своих родителей, ибо это противоречит принципу коллективности. Распались Метцкая и Тулузская «церкви», многие парижские «верующие» объявили о своем уходе, и наконец ушел даже Родриг, издавший манифест об основании им новой церкви, более верной заветам Сен-Симона. Начались преследования со стороны властей, закрывавших сен-симонистские собрания за проповедь «безнравственных идей», Базар и Родриг грозили судебными процессами, фонды, прежде столь обильные, быстро иссякали. Надо было принять экстренные меры, чтобы как-нибудь скрепить разбредавшуюся паству.

20 апреля 1832 года вышел последний номер «Земли», где «отец» в напыщенных выражениях сообщал, что он вместе с избранными сорока учениками удаляется в уединение, дабы подготовиться к своей мировой миссии. «Я, отец новой семьи, — говорилось в этом прощальном манифесте, — прежде чем повелеть замолкнуть голосу, который ежедневно объяснял миру, кто мы такие, хочу, чтобы он сказал, кто я. Бог поручил мне призвать пролетария и женщину к новой жизни, привлечь в святую человеческую семью всех тех, кто до сих пор были из нее исключены, осуществить всемирную ассоциацию, которую с самого возникновения мира призывают крики о свободе, раздающиеся из уст всех рабов, женщин и пролетариев». После этого Анфантен в сопровождении избранных водворился в особняке в Менильмонтане.

Распад сен-симонистской церкви

Удаление в Менильмонтанский монастырь ничего не исправило и никого не скрепило: с тех пор как сенсимонизм окончательно выродился в замкнутую секту, разложение его пошло чрезвычайно быстро, и никакие декреты нового «папы» не могли приостановить его.

Менильмонтанский особняк — большой дом с садом и надворными постройками. С внешним миром Анфантен почти не общается. Даже женатым ученикам, избранным учителем, запрещается поддерживать отношения с женами. «Отец» замкнулся в своей келье и появляется среди учеников только во время завтраков, обедов и ужинов. Но в чем же заключаются приготовления к предстоящему подвигу? Чтобы привыкнуть к

физическому труду, метут дорожки сада и собственноручно исполняют все домашние работы. Чтобы получить представление о промышленных процессах, слушают лекции «братьев»-инженеров. Чтобы закалить тело, занимаются гимнастическими упражнениями и совершают прогулки. А чтобы закалить дух, беседуют по вечерам с «отцом».

А в Париже опять беспокойно: зашевелились тайные республиканские общества. Со времени июльской революции в них массами проникли рабочие и совершенно изменили их дух и направление. Ничего хорошего рабочие не ждут ни от нового «короля французов», Луи Филиппа, ни от ставшей у власти либеральной буржуазии. Нужна новая революция, нужна республика, нужны реформы, обеспечивающие пролетарию хлеб и работу. Тщетно Каррель и другие вожаки взывают к осторожности и советуют отложить восстание до более благоприятного момента. Их не слушают. 5 и 6 мая Париж опоясывается баррикадами, и в Сент-Антуанском предместье снова грохочут ружейные залпы.

Сенсимонисты слушают звуки выстрелов — и усердно метут дорожки. Как водится в таких случаях, в восставшие кварталы отправлен очередной проповедник, брат Хорт, который должен доказать рабочим-революционерам, орлеанистам, либералам, бонапартистам и всем прочим заблуждающимся людям, что не стоит ссориться из-за такой ерунды, как форма правления. Мирное и постепенное достижение сен-симонистского строя — вот единственная цель, о которой стоит думать. В таком же духе составлены и те две с половиной тысячи прокламаций, которые парижским «верующим» предписано расклеить на улицах столицы. Этим и ограничиваются отклики секты на политические события. Она не может думать о них слишком много: в «церкви» нелады, кресло великой жрицы, которая должна стать супругой «отца», до сих пор не занято, к подвигу только что приступили. Время ли сейчас уделять внимание каким-то баррикадам? Да и «отцу» совсем не до этого. У него более важные заботы: во-первых, он должен привезти в Менильмонтан своего единородного сына, усыновляемого «церковью», во-вторых, ему предстоит оповестить «верующих» о перемене сен-симонистской формы, отныне обязательной для всей его паствы.

6 июня. Восстание еще не подавлено. То там, то сям еще громяют выстрелы, и все население столицы, от министров до обывателей, ломает голову над нерешенным вопросом: кто кого? А сенсимонисты метут дорожки, делают гимнастику и спокойно дожидаются возвращения «отца». Вот, наконец, и он, — бодрый, жизнерадостный, со спокойным челом, на котором кровавые зрелища не провели ни единой морщинки. Он

представляет присутствующим своего сына, и сообщает потрясающее известие: под голубым фраком сенсимонисты должны отныне носить белый жилет, застегивающийся не спереди, а сзади. Без помощи другого человека застегнуть его нельзя. Это новшество введено для того, чтобы всегда напоминать сен-симонистам о необходимости сотрудничества. День заканчивается собеседованием и торжественным шествием по саду.

В таких трудах проходит все время до 27 августа — дня, в который должно слушаться дело по обвинению Родрига и Барро в устройстве незаконных собраний, а Анфантена, Дюверье и Шевалье — в безнравственных деяниях. К зданию суда «церковь» идет в полном составе, облаченная в голубые фраки и застегивающиеся сзади белые жилеты. В суде свидетелям (все они — из среды «верующих») предлагают принести присягу. «Разрешаете ли вы, отец?» — спрашивает Анфантена каждый Свидетель, вызываемый судьями, и, получив вместо ответа отрицательный кивок головы, от присяги отказывается. Наконец, Анфантену предоставляется слово для защитительной речи. Говорит он против обыкновения вяло и бледно, прерывая речь долгими паузами и обводя судей молниеносным взглядом, который, по его убеждению, обладает «магнетизирующей» силой. Но ни диалектика, ни взгляды не помогают: и Анфантена, и Дюверье, и Шевалье приговаривают к году тюремного, заключения и штрафу в сто франков.

Судебный приговор нанес «церкви» смертельный удар. От нее постепенно отхлынули почти все буржуазные элементы, и только немногочисленные кружки, состоявшие главным образом из рабочих, продолжали хранить сен-симонистские традиции. Попытки отколовшихся сенсимонистов — Родрига, Бюше и других — основать новую «церковь» ни к чему не приводили. Отдельные лица и целые группы основывали сен-симонистские газеты и газетки, но ни одна из них не просуществовала больше нескольких месяцев. Движение разбилось на множество мелких ручейков и перестало играть какую бы то ни было роль в общественной жизни Франции. Тем не менее философское влияние сен-симонистской школы долго еще сказывалось на многих представителях литературного и научного мира.

Но гибель секты все-таки наступила не сразу. Пока Анфантен отбывал тюремное заключение, его ученики развернули в провинциях лихорадочную агитацию. Одни из них, более трезво настроенные, уезжали в промышленные центры, поступали в мастерские и вели пропаганду среди рабочих и мелкой буржуазии. Другие, охваченные мистическим экстазом, отправились вместе с Барро на юг Франции, а оттуда — в

Константинополь, чтобы разыскать там супругу для «отца», — ту «мать», которая, воссев на пустующем супружеском кресле и дополнив собою мессию, должна была принести освобождение человечеству. Люди в голубых фраках и красных беретках возбуждали интерес, иногда сочувствие, но их проповедь не давала длительных результатов, и «верующие» уходили так же быстро, как приходили. Из всех этих агитационных поездок и походов интерес представляет только египетская экспедиция Анфантена, закончившая собою историю секты.

После выхода из тюрьмы Анфантен решил немедленно приняться за какое-нибудь крупное предприятие, которое дало бы возможность ему и его ученикам испробовать силы на практической работе и таким образом воочию доказать миру творческую мощь сенсимонизма. Наиболее подходящим для этого начинанием представлялось прорытие Суэцкого канала, — недаром ведь о нем так много говорил покойный учитель. С помощью верных учеников, немедленно откликнувшихся на его зов, снаряжается экспедиция, в которую входит довольно много инженеров — по большей части воспитанников Политехнической школы — и рабочих, сочувствующих сен-симонистским идеям. В конце 1833 года экспедиция выехала в Египет.

Переговоры с египетским правительством привели не совсем к тому, чего хотелось Анфантену: вместо Суэцкого канала правительство предложило приезжим строить ирригационные плотины на Ниле. Но Анфантен согласился и на это, и вскоре под его верховным руководством начались работы. Это была поистине нелегкая задача: европейцы, не привыкшие к тропическому климату, страдали от жары, заболели лихорадкой, умирали десятками, но все-таки не сдавались. Работы продолжались четыре года. Наконец вспыхнула эпидемия холеры, сразу вырвавшая из рядов экспедиции наиболее деятельных и полезных ее членов. Сенсимонисты дрогнули и начали массами уезжать на родину. Не выдержал и Анфантен, и в 1837 году затея, начавшаяся с таким энтузиазмом, потерпела окончательное крушение. Анфантен, истративший на этот проект последние средства, вернулся во Францию нищим и долгое время существовал на субсидии учеников. Наконец ему удалось пристроиться к железнодорожному предпринимательству. Он стал директором одной из крупных железнодорожных линий и последние годы жизни провел в довольно хорошей материальной обстановке. Литературной деятельности он не бросил. Из его сочинений последнего периода следует отметить книги: «Наука о человеке» (1858) и «Вечная жизнь», в которых повторились основные мысли его учения. Книги эти прошли почти

незамеченными. 31 августа 1864 года он умер.

Сен-симонистское движение не привело к образованию массовой партии, но огромное значение его для рабочего движения несомненно. Исторический смысл сенсимонизма не в тех планах, которые он создавал, а в тех вопросах, которые он ставил на очередь. С ним тесно связаны учения французских социалистов сороковых годов, начиная с Пьера Леру и кончая Прудоном, да и для научного мировоззрения Маркса и Энгельса он не прошел бесследно. И может быть даже мистические причуды и сентиментальные представления Анфантена и его последователей принесли некоторую долю пользы, ибо они поражали воображение современников и привлекали внимание к вопросам, бесконечно более важным, чем внешняя мишура сен-симонистской «церкви».

СенСимон и марксизм

Что Маркс и Энгельс уже в самом начале своей литературно-общественной деятельности изучали Сен-Симона и прекрасно знали его сочинения, — не подлежит сомнению. Это видно хотя бы из статьи Маркса о биографии Сен-Симона, написанной Карлом Грюном и вышедшей в свет в первой половине 40-х годов. Детальные указания на допущенные биографом фактические неточности и острый анализ идеологических искажений сен-симоновской системы ясно свидетельствуют о том, что Маркс уже и в те годы был близко знаком не только с теориями самого Сен-Симона, но и с историей идейного развития его учеников. Тем не менее и Маркс, и Энгельс говорят о Сен-Симоне мало, — несравненно меньше, чем о Фурье и Оуэне.

В статье «Прогресс движения за социальные реформы на континенте», относящейся к этому же периоду, Энгельс, сравнивая фурьеризм с сенсимонизмом, дает этому последнему довольно пренебрежительную характеристику. «Мы находим в нем (фурьеризме. — Ст. В.) нечто более ценное, чем то, что нам давала предшествующая школа. Правда, и в них (фурьеристах) нет недостатка в мистицизме и даже подчас в прямом сумасбродстве. Однако, если его оставить в стороне, остается нечто, что у сенсимонизма нельзя найти, — а именно, научные изыскания, трезвость, смелость систематического мышления, короче, социальная философия, между тем как сенсимонизм в лучшем случае заслуживает названия социальной поэзии» (Собр. соч. Маркса и Энгельса, изд. ИМЭЛ, т. II, стр. 395).

В «Коммунистическом манифесте» СенСимон не выделяется из прочих утопистов. «Коммунистический манифест» не отрицает важности той предварительной работы, которую проделали СенСимон, Фурье и Оуэн. «В этих социалистических и коммунистических произведениях заключаются также и критические элементы. Они затрагивают все основания существующего общества. Они поэтому доставили драгоценный материал для просвещения рабочих». В то же время, в отличие от основателей утопических систем, признаваемых «революционерами», «Манифест» характеризует их последователей, как «реакционные секты». После этого, вплоть до появления «Анти-Дюринга», Маркс и Энгельс нигде не упоминают о Сен-Симоне и как будто совсем забывают о нем.

Причина такого сдержанного отношения вполне ясна. В середине, и

даже в конце сороковых годов сен-симонистская школа еще не совсем сошла со сцены и продолжала оказывать влияние если не на массы, то на отдельных писателей, занимавшихся социальными вопросами (Пьер Леру, Прудон, Луи Блан во Франции, Лоренц Штейн и Родбертус в Германии), и на передовые группы революционно настроенных рабочих. А влияние это несомненно было реакционно, ибо последыши сенсимонизма призывали к классовому миру и теоретическое изучение социальных противоречий подменяли туманными мистическими исканиями. Естественно, что Маркс и Энгельс должны были бороться с этим направлением и не могли особенно выдвигать на первый план положительные стороны сен-симоновской системы.

В семидесятых годах XIX столетия положение было иное. Марксизм, как научное мировоззрение, окончательно сложился, сложилась и боевая классовая партия пролетариата, и сен-симонистская мистика, принадлежавшая истории, была уже не опасна. Сен-Симону можно было воздать должное, не рискуя лить воду на мельницу реакции. Утопическая сторона его теорий, опровергнутая всем ходом общественной жизни, была забыта, и тем рельефнее выступали его заслуги в области теоретической мысли. В «Анти-Дюринге» Энгельс отзывается о Сен-Симоне с величайшим уважением. «Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым всеобъемлющим умом своего времени». («Анти-Дюринг», т. XIV, стр. 24). «У Сен-Симона мы находим величайшую широту взглядов, позволившую ему высказать в зародыше почти все позднейшие социалистические идеи» («Развитие социализма от утопии к науке», т. XV, стр. 514). «В 1816 году СенСимон заявляет, что политика есть наука о производстве, и заранее предсказывает ее полнейшее поглощение экономикой. Если понятие о происхождении политических учреждений видно лишь в зародыше, зато совершенно ясно выражена та мысль, что политическая власть над людьми должна превратиться в управление вещами, в заведывание процессом производства, т. е. прийти к упразднению государства, о котором так много шумели за последнее время» («Анти-Дюринг», т. XIV, стр. 262–263).

В предисловии к книге «Крестьянская война в Германии» заслуги великих утопистов подчеркнуты еще сильнее. «Немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна, — трех людей, которые при всем утопизме своих учений принадлежали к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество положений, правильность которых мы теперь доказали теоретически» (Предисловие к «Крестьянской войне в Германии», т. XV, стр. 142).

Итак, идейная связь марксизма с Сен-Симоном признается полностью. Но значит ли это, что марксизм, как старается например доказать историк французского социализма Ж. Вейль, есть лишь продолжение сенсимонизма и что даже марксова теория стоимости заимствована у Анфантена? Стоит только сопоставить эпоху Сен-Симона с эпохой Маркса и Энгельса и припомнить основные тезисы обеих школ, чтобы увидеть всю нелепость таких утверждений.

В эпоху Сен-Симона машинное производство только что зарождалось, и капитализм не успел еще полностью проявить ни своих творческих сил, ни свойственных ему внутренних противоречий; такой же половинчатостью, неясностью отличался и идейный багаж этого поколения, сочетавшего неизжитые еще традиции XVIII века с реакционно-романтическими порывами де Местра и Шатобриана. В эпоху Маркса и Энгельса капиталистический строй уже раскрыл все свои основные особенности: техническую мощь предприятий, прогрессирующее обнищание масс, непримиримость интересов буржуазии и пролетариата, социально-политическую борьбу между этими двумя классами.

Чтобы понять смысл всех этих явлений и создать на основании их новую социально-философскую систему, людям этого поколения не было надобности обращаться к авторитетам прошлого, ибо бесстрашному, свободному от буржуазных пристрастий исследователю жизнь сама намечала вехи его творчества. Новое мировоззрение подсказывалось самой социальной обстановкой, и мыслители двадцатых годов, как бы гениальны они ни были, могли только облегчить философскую работу молодых революционеров, а не дать им направление и метод. И в этом отношении ответы, дававшиеся великими утопистами, были пожалуй даже менее ценны, чем вопросы, вызываемые их логическими промахами и теоретическими ошибками. Тут ничего нельзя было повторять, ибо все приходилось переделывать.

Насколько различны две эти эпохи, настолько же различна и общая установка Сен-Симона с одной стороны, Маркса и Энгельса — с другой.

СенСимон — дуалист, отводящий «духу» такую же роль в историческом процессе, как и «материи». Маркс и Энгельс — выдержанные монисты-диалектики^[36], стремящиеся объяснить всю историю, как следствие изменений окружающей человека материальной — главным образом экономической — среды. СенСимон ищет целей человеческой деятельности, Маркс и Энгельс — ее причин. СенСимон подходит к производству с чисто внешней его стороны, не анализируя ни природы стоимости, ни процесса накопления, ни вытекающих отсюда

взаимоотношений между владельцем средств производства и наемным рабочим, — Маркс начинает с выяснения природы стоимости и из условий процесса капиталистического производства выводит формы социальной борьбы, свойственные капиталистическому строю.

Уже одно это сопоставление показывает, что Маркс и Энгельс не могли быть продолжателями Сен-Симона. Они отличаются от него всем строем своего мышления, всей своей философской природой. Если они «стояли на плечах Сен-Симона», то это еще далеко не значит, что они выросли из его головы.

В богатой сокровищнице идей, оставшейся после великого утописта, они, конечно, находили немало ценных мыслей, но мысли эти переплавлялись заново, меняли не только свою словесную форму, но и свой внутренний смысл и теряли почти всякую связь с их прежним автором.

Поясним это на примере главнейших положений сенсимонизма и марксизма.

СенСимон устанавливает общее понятие исторической необходимости и выражает его с поразительной для того времени четкостью. Мы видели, что в историческом процессе для него не существует ни случайности, ни произвола отдельных, хотя бы и гениальных, личностей. Но так как он дуалист, так как он считает «духовные» элементы жизни не зависящими от материальных ее элементов, то при практическом применении этой идеи к отдельным историческим событиям он запутывается в противоречиях (вспомним, например, его объяснение некоторых этапов Французской революции). Поэтому экономическая обусловленность отдельных явлений, которую он нередко усиленно подчеркивает, сплошь и рядом ускользает от него, и вместо причин, породивших тот или иной общественный строй, он начинает говорить о целях, которыми руководились создавшие этот строй люди. Внутренние противоречия тут не случайны, — они неизбежно вытекают из дуалистического мышления Сен-Симона, — и потому продолжать его теорию значило бы повторять все ее ошибки. Для Маркса и Энгельса дело заключалось не в ее улучшении, а в ее коренной переработке. Чтобы правильно понять историческую необходимость, нужно было стать на совершенно иную исходную точку зрения, признав экономику определяющим моментом общественных отношений и подчинив ей все духовные проявления человеческой жизни.

Это и сделали творцы научного социализма. Вместо неопределенного, половинчатого и непоследовательного историко-философского мировоззрения получилась классически ясная формула: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли

независящие отношения — производственные отношения, которые составляют определенную ступень развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономический строй общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и который соответствует определенной фазе общественного сознания. Способы производства материальной жизни обуславливают социальный, политический и духовный процессы вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот: их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими общественными отношениями или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались... Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». («К критике политической экономии», изд. ИМЭЛ, стр. 47–48).

В учении Сен-Симона о взаимоотношениях общественных классов мы опять-таки видим большое внешнее сходство с положениями марксизма при полном различии внутреннего духа обеих теорий. Согласно Сен-Симону, цель общества заключается в «улучшении положения самого многочисленного и самого бедного его класса»; причина бедственного положения этого класса — современная система собственности («наследственные привилегии», — как выражается сам Сен-Симон, — «собственность на орудия труда»; — как уже гораздо определеннее выражаются его ученики). Средство избавления — реформа собственнических отношений (у Сен-Симона — ликвидация класса феодальных землевладельцев и праздных, не занимающихся сельскохозяйственным производством земельных собственников, у его учеников — передача всех орудий производства в собственность государства). Но эту «цель» Сен-Симон определяет, как некую от века данную моральную задачу. А мораль, будучи «духовным началом», не зависит от экономики и, хотя она меняется в соответствии с экономическим строем общества, все же представляет собой самостоятельную силу, руководящую деятельностью людей. Отсюда вывод: улучшения положения «самого многочисленного класса» можно добиться лишь путем идейного воздействия на господствующие классы, которые сами произведут необходимую реформу — отчасти под влиянием собственных экономических интересов, а главным образом под влиянием моральных

побуждений.

Таким образом освобождение от капитализма изображается, как результат просвещенной и благородной деятельности самих же капиталистов. Этот нелепый практический вывод нельзя было исправить, оставаясь в рамках сен-симоновской системы. Чтобы «продолжить» сен-симоновскую теорию, нужно было пересадить ее на совершенно иную идейную почву и коренным образом изменить ее исходный пункт.

Как осуществил эту задачи марксизм — достаточно хорошо известно.

Маркс и Энгельс прежде всего иначе истолковали «цель общества», а затем и средства, ведущие к ее достижению. Отвлеченной, раз навсегда данной социальной «цели» вообще не существует. Цели общественной жизни диктуются обществу теми производственными отношениями, которые имеются в данное время. А свойственные капитализму производственные отношения, покоящиеся на принципе частной собственности, таковы, что ни о каком серьезном и длительном улучшении положения пролетариата не может быть и речи, пока радикально не перестроится весь общественный порядок, — иначе говоря, пока не рухнет капитализм.

Следовательно, о мирных реформах сверху не приходится говорить; завоевание политической власти — вот единственно возможное средство социального освобождения. Поэтому и мораль, навязываемая пролетариату всем ходом исторического развития, есть не мораль классового примирения, а мораль беспощадной классовой борьбы. Только при таком истолковании сен-симоновский лозунг — «улучшение существования самого многочисленного и самого бедного класса» — превратился из благого пожелания в действительную программу.

Всего отчетливее различие обоих мировоззрений проявляется в вопросе о способах борьбы.

Для Сен-Симона пролетариат является пассивной стихией, судьбы которой направляются правящей верхушкой общества. Верхушка эта тщательно избегает насильственных переворотов, которые могут грозить и ее собственному благополучию, и потому борьба ее носит мирный характер и не выходит за рамки моральной пропаганды. Для революционного марксизма, наоборот, пролетариат — единственный возможный творец будущей человеческой истории, который может осуществить свои цели только в том случае, если он уничтожит без остатка все основы старого строя. Не только путь сотрудничества с правящими классами, но и путь компромисса для него исключен. Борьба его в полном смысле слова борьба не на жизнь, а на смерть, и потому единственной формой ее, приемлемой

для рабочего класса, оказывается пролетарская революция.

Чтобы прийти к такому выводу, нужно было не продолжить сен-симоновскую теорию, а подойти к ней с противоположного конца, поставив на первое место не «аристократию талантов», а творческую рабочую массу.

Нечего и говорить, что такой подход стал возможен только тогда, когда сама эта масса выступила на сцену как самостоятельная сила. Революционная тактика Маркса и Энгельса была не кабинетной теорией, а непосредственным отзвуком самой жизни, безжалостно опрокинувшей филантропические мечты Сен-Симона и его учеников.

Но Маркс и Энгельс имели в виду не только программу-максимум, а и программу-минимум, рассчитанную на переходный период. Поэтому, когда им пришлось выработать для германской коммунистической партии ближайшие конкретные требования, они вынуждены были приспособить программу реформ к хозяйственной обстановке отсталой Германии. Естественно, что некоторые из выдвинутых ими пунктов весьма близко подходили к реформам, намеченным Сен-Симоном за двадцать пять лет до этого. Вот некоторые из этих пунктов:

«7. Имения государей и прочие феодальные имения, все рудники, копи и т. д. обращаются в собственность государства...

9. В тех областях, где развита аренда, земельная рента или покупная плата уплачивается государству в виде налога... Собственно земельный собственник, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — просто злоупотребление.

14. Ограничение права наследования.

15. Введение усиленного прогрессивного налога и уничтожение налогов на предметы потребления.

16. Устройство национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим существование и берет на себя попечение о неспособных к труду.

17. Всеобщее бесплатное народное образование».

(«Требование коммунистической партии Германии». Приложение IV к «Коммунистическому манифесту», изд. ИМЭЛ, стр. 318).

В пунктах 7 и 9 характерно разграничение двух категорий: землевладельцев, не принимающих участия в процессе производства (к ним относятся феодалы и землевладельцы-рантье), и землевладельцев, участвующих в сельском хозяйстве. Первые (по терминологии Сен-Симона «праздные собственники») подлежат ликвидации, вторые оставляются. Это — как раз то, что предлагал сделать (правда, с выкупом) Сен-Симон.

Пункты 14, 15, 16 и 17 — именно те мероприятия, которые Сен-Симон рекомендовал провести в первую очередь при составлении «индустриального» бюджета.

Правда, в 1848 году о них говорили многие французские социалисты, и в программу германской коммунистической партии они перешли вероятно именно оттуда. Но все же в обиход французской социалистической мысли они вошли главным образом благодаря сен-симонистам.

Как мы уже говорили, особенностью сен-симоновской системы, отличающей ее от всех прочих утопий начала XIX века, является ее универсализм.

Общемировой характер капиталистического производства и международные лозунги, из него вытекающие, были гораздо яснее Сен-Симону, чем прочим утопистам. Но инициаторами и осуществителями экономического объединения мира опять-таки являлись выдающиеся «индустриалы», т. е. те именно люди, торговая конкуренция которых как раз и приводит к международным конфликтам и войнам между нациями.

Таким образом верная мысль — создание единой мировой экономической организации — превращалась в нелепость благодаря тому, что проводить эту реформу в жизнь должны были классы, органически ей враждебные. Чтобы развить этот лозунг и из утопии сделать его реальным требованием, нужно было понять мировой капитализм не в его мнимой гармонии, а в его действительных противоречиях, вскрыть постепенное нарастание этих противоречий и определить единственный общественный класс, способный преодолеть их путем революционного преобразования мирового социального строя.

Другими словами, призыв: «индустриалы всех стран, соединяйтесь!» нужно было заменить призывом: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это и сделали Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте».

Эти примеры, касающиеся наиболее важных сторон сен-симоновской системы, можно было бы дополнить целым рядом других. Учение Сен-Симона о замене политической организации общества («государства») организацией экономической, теории его учеников о преобразовании семейного быта, указания на анархию современного экономического строя, встречающиеся в «Изложении сен-симонистской доктрины», учение об объединяющей роли банков, выдвинутое Сен-Симоном и развитое его последователями, — все эти мысли не столько связанные теории, сколько гениальные предвидения. Их нельзя было последовательно развивать, — их приходилось переделывать. Творческий гений Маркса и Энгельса сумел найти для этих «гениальных зародышей» настоящую питательную среду и,

объединив их новой теорией общественных отношений, дал им возможность расти не в оранжереях фантастического утопизма, а на пажитях действительности. Таким образом марксизм сделал эти предвидения достоянием точной исторической науки, предварительно изменив их природу.

Сенсимонизм и русская общественная МЫСЛЬ

Сенсимонизм, оказавший такое большое влияние на французскую мелкобуржуазную интеллигенцию 30-х годов XIX века, не мог не затронуть и некоторые слои русского общества этого периода. В крепостнической России, отставшей от Западной Европы почти на столетие, слои эти были, правда, и немногочисленны, и мало влиятельны, но все же они существовали. Состояли они почти исключительно из образованной дворянской молодежи, хлебнувшей западной культуры, оторвавшейся от помещичьего уклада, но неспособной сколько-нибудь широко и глубоко подойти к социальному вопросу, поставленному на очередь западноевропейской действительностью. Из сенсимонизма эти культурные одиночки черпали не столько стремление к научному изучению общественных проблем, сколько сентиментальные симпатии к беднякам и смутную жажду социальных преобразований. Сенсимонизм давал им не построения, а настроения, но в условиях тогдашней российской действительности и это уже было немалой заслугой.

В самом деле, что могли дать этим юнцам с благородными мыслями и возвышенными чувствами сен-симоновские идеи о всеобщем распространении индустриальной системы, об отмирании государства, о значении банков и кредита, об ассоциациях, об исторической необходимости? Индустриальная система была им известна разве только по крепостным фабрикам, государство являлось в облике николаевского жандарма, банки, в европейском смысле этого слова, почти не существовали, с историей собственной страны можно было познакомиться только по карамзинской «Истории государства российского». Трагический исход декабристского восстания на долгие годы отстранил всякую мысль об активной политической борьбе. Звериный быт крепостного поместья, произвол высших и низших властей, самодурство сверху, пассивное повиновение снизу, — вот что было реальной действительностью для этих юношей. Чтобы понять социальную подоплеку сенсимонизма, нужно было мысленно перенестись в быт совершенно чужой им страны, а для этого не хватало ни знаний, ни фантазии. Поэтому наиболее доступной стороной сенсимонизма для них оказывались его отвлеченные морально-философские идеи, которые можно было понять умом и усвоить чувством и

без непосредственного знакомства с жизнью Франции.

Первым русским сен симонистом был декабрист Лунин, попавший во Францию в 1815 году вместе с русскими войсками и в 1816 году лично познакомившийся с Сен-Симоном. Сен-Симон высоко ценил его способности, считал его одним из лучших своих учеников и по всей вероятности именно от него получил некоторые сведения о русском крепостном строе, о котором он упоминает в одном из своих произведений. Возвратившись в Россию и став одним из основателей «Союза спасения», а впоследствии членом «Северного тайного общества», Лунин, вероятно, пропагандировал идеи учителя среди своих политических единомышленников, но широкого отклика среди них не встретил. Судя по некоторым косвенным данным, можно думать, что и Пестель был знаком с теориями Сен-Симона. Но на общем мировоззрении декабристов сен-симоновская социальная философия никак не отразилась, ибо все внимание их было поглощено двумя основными задачами — свержением абсолютизма и отменой крепостного права, и уяснению этих задач теории Сен-Симона ни в малейшей мере не помогали.

В 30-х годах сенсимонизму в России более посчастливилось, и «Изложение сен-симонистской доктрины» стало одной из популярнейших книг среди передовой части тогдашней культурной молодежи. Но это произошло не потому, что в политическом отношении Россия шагнула вперед по сравнению с предыдущим десятилетием, а потому, что она значительно ушла назад. Николаевский режим, беспощадно давивший всякое свободное слово и всякую свободную мысль, исключал возможность какой бы то ни было общественной деятельности и так основательно расправился с либеральными кругами русского общества, что об активной борьбе против самодержавия не приходилось и думать. Единственное, что оставалось немногочисленной дворянской интеллигенции, — это переживать в идее то, чего нельзя было осуществить в действительности. Отвлеченные философские построения Гегеля и смелые фантазии великих утопистов как нельзя более подходили для этой «мысленной» революции. То, что на Западе было прологом к великой жизненной битве, здесь, в беспросветной николаевской тюрьме, было упоительной сказкой, которую рассказывает себе ребенок, запертый в темную комнату. Поэтому и из сенсимонистского учения радикально настроенные русские юноши 30-х годов взяли не его научную сторону, не его практические выводы, а наиболее сказочные, наиболее отвлеченные элементы. Либеральная оппозиция не видела за собою никаких реальных сил. В ее руках не было никакого иного оружия, кроме слова, а слово, что бы там ни говорили, не может

переломить штыка. И вдруг появляются люди, несущие новую религию, уверяющие, что их проповедь сокрушит все препятствия и что «любовь» пересоздаст весь мир. Естественно, что радикальные круги дворянской интеллигенции должны были ухватиться за это откровение обеими руками.

«Середь этого брожения, — рассказывает Герцен, — середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попали в наши руки сенсимонистские брошюры, их проповедь, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Анфантенном и его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши со своими неразрезными жилетами, с отращенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.

С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдавание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с равным.

С другой — оправдание, искупление плоти, *rehabilitation de la chair*.

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый... Добрые люди поняли, что очистительное крещение плоти есть отходная христианству. Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы.

Новый мир толкался в дверь; наши души, наши сердца растворялись ему. Сенсимонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены модной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду через море» («Былое и думы»).

По словам Герцена, сенсимонизм производил очень большое впечатление не только на него и Огарева, но и на довольно широкие круги московской культурной молодежи. «Сенсимонизм, неопределенный, религиозный и в то же время не лишенный анализа, удивительно подходил к их вкусам». («О развитии революционных идей в России»). От этой «неопределенности» Герцен вскоре избавился и упрекал учеников Сен-Симона как раз за то, что так восхищало его вначале, — за чрезмерное увлечение религиозными идеями: уже в середине 1833 года в письме к

Огареву он называет «религиозную форму» сенсимонизма его «упадком». Тем не менее преклонение перед Сен-Симоном и выдвинутыми им идеями оставалось у Герцена и впоследствии.

Огарев, ближайший друг Герцена, попытался даже на практике осуществить сен-симонистские теории и некоторое время носился с планами основания «крестьянского университета» и «фабрики», которая должна была облегчить положение крестьян его имения и вообще окрестного населения. Разумеется, в условиях николаевской России планы эти остались благими мечтами.

Для Герцена, Огарева и некоторых из их друзей сочинения Сен-Симона и его последователей оказались своего рода приготовительной школой. Сен-симонистские идеи сыграли некоторую роль в духовном развитии Белинского, хотя у него они переплетались с другими влияниями, гораздо более сильными (Гегель в первую половину его литературной деятельности, Фурье, Пьер Леру, Луи Блан, Прудон, Жорж Занд и Фейербах в последние годы своей жизни).

Интеллигентная молодежь сороковых и особенно начала пятидесятых годов была уже значительно иной и по своему классовому составу и по своим политическим стремлениям. К дворянскому студенчеству в большом числе примешались студенты из других сословий, и интеллигент-разночинец, бывший редкостью в 30-х годах, стал явлением довольно частым. Туманная мечтательность, характерная для предыдущего десятилетия, этому поколению была уже чужда: оно инстинктивно тянулось к точной науке, четким политическим лозунгам, более трезвому анализу социальных отношений. СенСимон и сенсимонисты оказывали на него гораздо меньшее влияние, чем новые властители дум — Прудон и Луи Блан. Но все же и для него сенсимонизм прошел далеко не бесследно. Говоря об этой эпохе, Салтыков-Щедрин так описывает свои собственные настроения того времени: «Еще в ранней молодости он (подразумевается сам Салтыков-Щедрин) был идеалистом; но это было скорее сонное мечтание, чем сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но в сущности смешивал в одну кучу и сенсимонизм, и икаризм, и фурьеризм и скорее всего примыкал к сенсимонизму» («Мелочи жизни»). «Он... естественно примкнул к западникам... К тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...

Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда» («За рубежом»). Петрашевский, оказавший большое влияние на политические взгляды Щедрина, был фурьеристом и к сенсимонизму особых симпатий не питал.

Сверстники Щедрина — вот то последнее поколение русской интеллигенции, которое находилось под непосредственным воздействием сенсимонизма. Начиная с середины пятидесятих годов, преобладающее влияние в литературе и общественной жизни переходит к «разночинцам», — выходцам из самых разнообразных социальных слоев. Признанными вождями культурной молодежи становятся преемники разночинца Белинского — Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Елисеев. Западная Европа попрежнему остается их вдохновительницей, но это уж совсем не та Европа, в которой искали откровений их предшественники. Социальный вопрос разделил ее на два непримиримых лагеря, у которых все разное, начиная с внешнего облика и кончая самыми интимными уголками духовного мира. Религиозные искания отступили на задний план, и в центре интересов стоят социально-политические вопросы и точные науки. «Отец» Анфантен еще жив и даже выпускает книги, но читают их и вспоминают о нем только друзья его молодости. Новое поколение, отдавшееся другим думам и другим вождям, забыло его, и сенсимонизм, когда-то столь влиятельный и шумный, стал в лучшем случае темой исторических диссертаций.

Так же относились к нему и русские радикалы конца пятидесятих и начала шестидесятих годов. Их мировоззрению, стремившемуся построить общественные отношения на «разумном и правильно понятом эгоизме», сен-симонистская религия чувства была совершенно чужда. Борьба с феодальными пережитками, критика капиталистического строя, необходимость социальных реформ, равноправие женщины, свободные отношения между полами, политическое освобождение — все это обосновывалось совершенно иначе, чем тридцать лет назад. Если о Сен-Симоне и упоминали, то лишь для того, чтобы, разоблачая его ошибки, намечать новые пути для разрешения очередных социально-политических проблем. Так поступил, например, Чернышевский, который в своем разборе Сен-Симона и сенсимонизма из трех главнейших идей этого учения (улучшение участи наиболее многочисленного и бедного класса как цели общества, религия любви как способ ее осуществления и лозунг «каждому по его способности и каждой способности по ее делам» как организационный принцип нового строя) признал правильной только первую.

Семидесятые и восьмидесятые годы выдвинули новые интересы и новых борцов. Разночинной радикальной интеллигенции, вступившей в единоборство с царизмом, некогда было погружаться в историю. СенСимон и прочие великие утописты были почти забыты. О них начинают снова вспоминать только в девятисотых годах, когда одновременно с возобновлением политической борьбы на сцену выступает рабочее движение как совершенно самостоятельная сила. О великих утопистах напомнил «Коммунистический манифест», ставший настольной книгой передовых рабочих и социалистически настроенных элементов учащейся молодежи. Даже официальная университетская наука испытала на себе влияние этих новых веяний. Далеко не случайно, что большой труд И. Иванова «СенСимон и сенсимонизм» появился в 1901 году, т. е. как раз тогда, когда подпольная социал-демократическая партия стала крупнейшим фактором русской политической жизни. Революционное рабочее движение стучалось в дверь — и надо было понять не только его программу, но и историческое развитие его идей.

Для современной русской действительности СенСимон — фигура далекого прошлого. Никто не будет теперь изучать историю по его методу, никто не станет искать социальных откровений в его «Новом христианстве». Намеченные им дороги к новому общественному строю давным-давно поросли травой забвения, да и сам этот строй предстал перед людьми в совершенно ином свете. И тем не менее СенСимон, как человек и мыслитель, представляет величайший интерес. А то обстоятельство, что его стремления вылились в буржуазную форму и не пошли дальше «индустриального строя», только лишний раз доказывает, насколько бессильны наилучшие порывы против влияний социальной среды и общих условий эпохи.

notes

Примечания

1

Отель. Во Франции XVIII века «отелями» назывались городские особняки знати и финансовой аристократии.

Карл Великий (742–814). Франкский король и основатель Священной римской империи.

Ливр равняется франку (37 коп. золотом по довоенному курсу). По своей товарной ценности ливр приблизительно в три раза больше довоенного франка. При пересчете на довоенную валюту нужно, следовательно, приводимую сумму помножать на три.

Вассалами назывались в средние века свободные люди, подчиненные местному феодальному владельцу, дававшие ему присягу на верность и обязанные участвовать в его военных походах и платить ему повинности.

Шатобриан, Франсуа Рене, виконт (1768–1848). Романист, философ, политический деятель, эмигрант, один из основателей романтической школы. По своим политическим симпатиям — монархист, по философским взглядам — ортодоксальный католик. Главное философское произведение — «Дух христианства», наиболее известные романы — «Рене» и «Атали». Наибольшей популярностью Шатобриан пользовался в двадцатых годах XIX века.

Пастораль. Сентиментальная театральная пьеса, изображающая любовные приключения пастушков и пастушек. Этот род театральных произведений, не имевших ничего общего с реальной действительностью, пользовался большой популярностью среди аристократии в XVIII столетии.

Шамфор, Себастиан Рок Никола (1741–1794). Драматург и писатель. По своим политическим взглядам — республиканец. Шамфор — ярый обличитель аристократии. Умер в тюрьме во время террора.

Юнг, Артур (1741–1820). Английский писатель и путешественник. Особенной известностью пользуется его «Путешествие по Франции», где он подробно описывает экономическое состояние Франции до революции. Эта книга служит одним из главных источников для изучения экономики дореволюционной Франции.

Вопрос о распределении обрабатываемой площади между различными группами сельского населения до сих пор окончательно не решен и вызывает чрезвычайно много споров. Старые историки Французской революции, — Тэн, Токвиль, — считали, что и в дореволюционную эпоху земля была распылена между большим числом землевладельцев. Историки более позднего времени — Барре, Мартен, — оспаривали это утверждение и на основании «наказов» (*cahiers de doleances*) доказывали, что в середине XVIII века концентрация обрабатываемой территории в руках буржуазных землевладельцев достигла довольно высокой степени. Историки последних лет возвращаются на основании данных о подоходном обложении к первому взгляду, который проводится и в настоящей книге.

Сен-Жермен, граф (дата рождения неизвестна, дата смерти — около 1795 г.). Авантюрист, занимавшийся алхимией и пользовавшийся большой популярностью во Франции 60-х годов XVIII века. В начале 60-х годов, после столкновения с полицией, вынужден был уехать из Франции и направился в Россию, а потом и в другие страны.

Бомарше, Пьер Огюстен (1732–1799). Знаменитый драматург, осмеивавший в своих комедиях политический быт старорежимной Франции, аристократию, придворных и т. д. Наиболее известны из его произведений «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро».

Бюффон, Жорж Луи, граф (1707–1788). Естествоиспытатель, автор «Естественной истории», положившей начало французскому естествознанию.

Кондорсе, Антуан Никола (1743–1794). Маркиз. Математик, известный экономист (физиократ) и социолог; деятель Французской революции, жирондист, член Конвента.

Конти, принц. Покровитель наук и искусств, особенно интересовавшийся археологией. Автор нескольких сочинений по археологии, не представляющих никакого теоретического интереса.

Гельвеций, Клод Андриан (1715–1771). Философ из школы энциклопедистов, по мировоззрению материалист. Первая его книга «О духе» была сожжена по постановлению парламента за атеистические идеи. Вторая — «О человеке» была напечатана после его смерти.

Гольбах, Поль Анри Дитрих (1723–1789). Философ-материалист. Сотрудник «Энциклопедии». Главное сочинение — «Система природы», где Гольбах подробно излагает свои взгляды на мироздание. По философским своим взглядам Гольбах принадлежал к левому крылу энциклопедистов.

«Энциклопедия». Энциклопедический словарь, издававшийся философами-просветителями под редакцией Дидро и Даламбера. В нем принимал видное участие и Вольтер. Целью «Энциклопедии» было дать читателям научное мировоззрение в противовес учениям католической церкви. Во Франции XVIII века «Энциклопедия» имела огромное культурное значение. Всех философов, принимавших в ней участие, называли энциклопедистами. Выходила она с 1751 г. по 1772 г. и подвергалась преследованиям духовных и светских властей.

Вашингтон, Джордж (1732–1799). Один из главнейших деятелей американской революции. Во время войны за независимость Вашингтон был главнокомандующим всех американских войск, а по заключении мира с Англией был избран президентом Американской республики. Вашингтон — популярнейший герой американской истории.

Ларошфуко, Франсуа Александр Фредерик, герцог де Лианкур (1747–1827). Известный филантроп и политический деятель.

Ламарк, Жан Батист (1744–1829). Французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории беспозвоночных» и многих трудов по ботанике. Создал теорию происхождения видов, его «Зоологическая философия» предвосхищает многие идеи дарвинской теории.

Кювье, Жорж (1769–1832). Знаменитый естествоиспытатель, основатель палеонтографии.

Жоффруа де Сент Илер (1772–1844). Французский зоолог, идеи которого о постепенной эволюции организмов были впоследствии подтверждены и углублены в теории Дарвина.

С 1795 года во Франции вместо ливров был введен счет на франки (франк равняется 1 ливру).

Сталь, Жермен (1766–1817). Романистка и политическая деятельница умеренно-жирондистского направления, пользовавшаяся большим влиянием в 1789—91 гг. В ее салонах собирались крупнейшие политические деятели, а ее книги, в которых восхвалялась английская конституция и проповедывалась ненависть к деспотизму, были столь популярны, что Наполеон изгнал ее из Франции.

Де Местр, Жозеф (1754–1821). Философ и политический деятель. В философии — поклонник католицизма, в политике — сторонник абсолютной монархии. Идеи его пользовались большим влиянием в 80-х годах XIX века.

Кант, Иммануил (1724–1804). Философ-идеалист, основатель так называемой «критической философии». Кант разделял все бытие на две области — мир явлений, воспринимаемых нашими чувствами, и мир «вещей в себе», которые являются причиной наблюдаемых нами явлений, но никакому анализу и исследованию не доступны. Эта точка зрения, развитая в его «Критике чистого разума», испытала существенные изменения в его последующем сочинении «Критике практического разума», где Кант рассматривал веления нравственного долга как непосредственное проявление недоступной для чувств, сверхопытной действительности. Впоследствии кантовский идеализм стал отправной точкой для всех реакционных мыслителей, и в среде реакционных философов влияние его сохранилось и в наше время.

Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814). Немецкий философ, сторонник крайнего идеализма («солипсизма»). Фихте, — по его собственным словам, — преодолевает Канта оружием кантовской идеалистической философии. Он устраняет установленное Кантом разделение мира на «мир явлений» и «мир вещей в себе». Согласно его системе, внешнего мира вообще не существует: то, что мы называем «внешним», есть лишь создание нашего собственного познающего «я».

Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775–1854). Немецкий философ, ученик Канта, основатель так называемой «философии тождества». В начале своей деятельности был политическим либералом, впоследствии перешел в лагерь реакции. Отдавшись во власть реакционно-мистических настроений, он написал «Философию природы», где попытался истолковать мироздание с точки зрения ортодоксального христианства. Его «Натурфилософия», усиленно насаждавшаяся в германских университетах, вызывала резкий отпор всех прогрессивно-демократических кругов немецкого общества, начиная с либералов и кончая революционерами. Во второй период своей деятельности вел борьбу с Гегелем, которого он считал представителем «отрицательной философии».

Иллюминаты. Мистическое направление масонства, возникшее в середине XVIII века.

Дон Кихот. Герой романа Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский», — тип, ставший бессмертным в литературе. Часто употребляется как нарицательное имя, обозначающее чудака и благородного, но смешного мечтателя.

Дульцинея. Воображаемая «дама сердца», которую разыскивал Дон Кихот и которая казалась ему олицетворением красоты и добродетели.

Всюду цитируется по изданию: *Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin*, Paris, 865–878.

Дуализм. Философское мировоззрение, признающее существование в мире двух независимых друг от друга начал — духа и материи, каждое из которых действует в своей собственной области и из взаимодействия которых складывается все наблюдаемое нами бытие.

Мабли, Габриель Бонно (1709–1785). Аббат, социальный мыслитель XVIII века, разоблачивший нравственные пороки и экономические противоречия современного ему строя и призывавший, в духе Руссо, к опрощению. Его идиллии будущего носят налет примитивного и весьма скромного коммунизма, приближавшегося к социальным утопиям того времени.

Морелли. Аббат. Биографические данные отсутствуют. Систему коммунистического строя он набросал в своем главном произведении «Кодекс природы» (1755 г.).

Монизм. Всякое мировоззрение, стремящееся объяснить бытие с какой-нибудь одной точки зрения. Монистична, например, система Гегеля, выведшего всю действительность из постепенно развивающейся идеи. Монистичен диалектический материализм, устанавливающий единство исторического процесса в его диалектических противоречиях.